

П.Мухортов и Э.Комиссаров

НЕПУБЛИКУЕМОЕ

Повести и рассказы

6+

Мухортов Петрович

Непубликуемое

«Автор»

1987

Петрович М. П.

Непубликуемое / М. П. Петрович — «Автор», 1987

События, о которых здесь можно прочитать, происходили не так давно, каких-нибудь 35 лет назад, но это уже другая эпоха – советская. Двое курсантов военного училища в середине восьмидесятых решили совместно попробовать написать серьезную литературу и отразить в ней свою эпоху. Печатаем без изменений и дополнений. Читайте, если сможете! И если не стошнит!!!

© Петрович М. П., 1987

© Автор, 1987

**ПАВЕЛ МУХОРТОВ
ЭДУАРД КОМИССАРОВ**

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ОТ АВТОРОВ

Перво-наперво – никакой ностальгии. Свобода превыше всего! Даже сытого рабства.

События, о которых здесь можно прочитать, происходили не так давно, каких-нибудь пятнадцать лет назад, но это уже другая эпоха – советская. Многим она уже покажется фантастически нереальной и неправдоподобной. Философия, с которой жили девяносто девять процентов населения великого Советского Союза, теперь многих рассмешит.

Но так мы жили: на зарплату в сто или, кому повезет, а двести рублей, о «заграницах» не мечтали, правда Сочи были доступны всем, как впрочем, и водка по 3,62 или 4,12, коньяк по 5 рублей, бесплатное образование и школьные обеды по 1 рублю за целую неделю. Все сыны и довольны! А такие слова, как фарцовщик, стилиста, хиппи, бизнес, коммерсант, рыночная экономика – были просто ругательствами.

Да, все было иначе. И авторы, то есть мы, смотрели на жизнь с позиций теперь настолько наивных, что даже смешно. Но, что было, то было!

И как рвалась юношеская душа излиться чернилами и на лист бумаги, как смогла это сделать – так это можете увидеть сами.

*Печатаемся без изменений и дополнений. Читайте, если сможете! И если не стоинит!!!
1999 год. До начала третьего тысячелетия осталась пара сотен дней.*

ТУПИК

Рассказ

Снова осень принесла обреченно-грустное настроение. Вместе с хрустом падающих коричневых шаров каштанов и наседающими серыми певучими облаками ее плавные, как полет кленового листа, мелодии вызвали безотчетное желание приостановить неизбежное движение этих очаровательных дней. Когда чутко воспринимая каждое, едва заметное дыхание природы, обостренно ощущаешь неумную потребность соприкоснуться хотя бы с ее частицей, то чаще именно тогда творишь самое невообразимое.

Пахло жженой листвой. Осторожно ступая по отлогой, мощеной булыжником улице, обрызганной ласковым дождиком, двое, не торопясь, подымались к раскинувшемуся на холме в густой синеве неба вдалеке от оживленных кварталов запустелому парку. Редкие встречные, поравнявшись, замедляли шаг, восторженно и пристально оглядывая пару, вернее прелестную девушку, и, счастливо улыбнувшись, провожали нескрываемым взглядом, вероятно, по-доброму завидуя. В таких случаях она мило жмурилась, быстро распахивала игривые, резко подведенные глаза и говорила: «Обожаю привлекать внимание». В сущности, ей было безразлично кто восхищался, главное, что ее вид приводил кого-то в трепет, – это доставляло ей огромное удовольствие. И сейчас, разминувшись с веселым, весьма симпатичным щеголем лет тридцати, который ей задорно подмигнул, спокойно сказала: "Бедняга, он обалдел". От умиления лицо ее пылало. Пальцы аккуратно расправили выбившийся из-под лилового плаща шикарный с блестками шарф. Она легко уронила голову на плечо поникшего парня – чувствовалось, что он обижен и удручен – и почти беззвучно засмеялась, – она была безусловно хороша во всем.

Ранний вечер был прохладен. Сухо шелестели клены. Так неподражаемо шелестят они только осенью. Дома с островерхими серой черепицы крышами казались скучными и неприязненными стариками, обещавшими поведать печальную историю своей неистойвой жизни. Бледный свет, еще путешествующий у грани притаившегося сумрака, и глубокое, мучительное ожидание пробуждали мрачную неудовлетворенность.

Он молчал и никак не мог избавиться от преступной мыслицы, что согласился на это гуляние по-глупому безучастно; она безжалостно добивала в нем любую попытку возразить или воспротивиться, или просто самостоятельно предложить что-либо взамен пустого шатания. Он понимал, что уже не в силах изменить и без того непрочные отношения, потому что одновременно и любит и ненавидит ее, покорительницу.

Крадучись, я шел за почти безмолвной парой без всякой цели: просто привык наблюдать за людьми. Согласитесь, занятие небезынтересное – все-таки чужая жизнь, она-то и влекла меня. Но в груди почему-то сначала легко, а затем тяжело, назойливо, тупо, даже болезненно рождалось иное чувство, которое нельзя было объяснить, и еще более неожиданно для себя я вдруг отметил, что не наслаждаюсь как прежде пением листвы под ногами, а краем уха лишь напряженно улавливаю завязавшийся разговор.

– Ядвига! – Сухое лицо его с крупной родинкой на небритой щеке, казавшееся изнеможенным в желтом зонтообразно падающем свете уличных фонарей, затерявшихся под навесом золотистой листвы, вытянулось. – Понимаешь, я не сумел выполнить обещания. Я оказался слабее, чем думал или оттого, признаюсь, что моя любовь к тебе казалась больше, нежели я того хотел.

Она привычным женским движением втайне выжидательно и задумчиво провела язычком по горящим губам, вяло растянувшимся в растерянной улыбке, и, низко опустив голову с модно прибранными барашками, так, что острый подбородочек уперся в грудь, уже не смотрела на парня. Она не понимала, что могло случиться, из-за чего Алексей стал сух и нелюбезен, или раньше не хотел огорчать и утешал, или притворялся. И вечные думы – вечные муки, почему и за что, если есть истинно вечная, заветная надежда: любить и быть любимой – накиннулись на нее.

Он же что-то невнятно гудел, пока речь его вновь не обрела форму:

– Как ты могла? Да за ту ночь, что ты отсутствовала, я чуть с ума не сошел, а днем все больницы.., – он осекся в заунывном стоне. – Почему ты не позвонила? – Он в смятении выхватил из кармана переливавшегося плаща худую руку с шевелящимися пальцами и резко взмахнул: – Неужели ты любишь его?!

– Ах, нет! – По-детски звонкий голос ее, напоенный нежностью, был настолько мил, что обезоружил его.

– Разве? А восхищаться комплиментами поэта, не принимая мои? Как будто их нет, и меня будто не существует, и .., – его голос исчез вместе с дрожью.

– Ах, Алеша, я говорю затем, чтобы ты ценил меня. Не забывай, что я женщина.

– Я просил не вести игру! Не хватало быть марионеткой в спектакле! Во мне, признаться, просыпается ненависть.

– Но потерять, зайчик, боишься! – заведомо подготовленным безучастным, но дерзким, бьющим по самолюбию восклицанием поддела она. Именно поддела, не уколола и не ужалила, потому что иначе бы он взорвался, а так, без возражений, молча закутавшись плотнее в плащ, нырнул в глухой переулок.

Она посмотрела: высокая, сутулая фигура, мощные плечи, бодающиеся вдоль тела усталые руки и походка, неуверенная, шаркающая, как при качке...

Я остановился бездушно довольный своим выгодным холостяцким положением и, к сожалению, искренне порадовался семейной сцене, разыгравшейся в осеннюю морось. Однако сладкая вонь раскуренного "Золотого руна" словно взбодрила, и опять я почувствовал, как

кто-то невидимый цепкими пальцами нахально сдавливал горло, раздражая и усиливая не то любопытство, не то тягостное необоримое сочувствие, что подтолкнуло следовать за Алексеем. Ядвига куда-то исчезла.

Путь Алексея был непонятен: по уснувшему в торжественном полумраке переулку он устремился вверх к безлюдному парку, где сновал влажный ветер и, погуляв с полчаса по безмолвным аллеям среди облесных, жалких каштанов, ронявших капли с ветвей, спустился обратно на ослепительную, дразняще-яркую улицу с потрескивающими сиренево-розовыми неоновыми вывесками.

Куда он шел? Зачем? Если "убегал" от Ядвиги, от себя, от того, что мучило и томило, то почему не решился на главное, чтобы раз и навсегда покончить с прошлым, разорвать отношения? Я догадывался, что мыслями он беспрестанно возвращается вспять, к ссоре с Ядвигой, или, с неистощимым терпением пытаюсь поймать неуловимое, ускользающее, заново переживает пережитое. В самом деле, он никуда не спешил, не искал забытого дома; остановившись около красивого двухэтажного особняка, увитого красной паутиной из стеблей и резных листьев дикого винограда, он долго стоял, тупо уставившись в эту паутину и в упругую ветвь ясеня, черневшую на фоне окна, затем, глубоко вздохнув и потеряв бровь, побрел дальше – словом, цели у него не было, и своим поведением он напоминал скорее поднятого, но не разбуженного человека, которого вытолкали на холод, и вот он моргает, ежится, борется со сном и идет по инерции.

Вокруг все реже и реже гудели и ныли машины, шумливыми клешнями стискивая разделившую их на потоки аллею со множеством опустевших скамеек. Внезапно замедлив шаг, Алексей сел на одну из них. Губы его дергались, а трагическое лицо его показалось мне чуть ли не картинным, настолько измучен он был внутренней борьбой.

Обменявшись с ним отсутствующим взглядом, я тоже сел поодаль, метрах в трех, отчасти пугаясь того, что буду немедленно разоблачен, отчасти подталкиваемый все той же неведомой силой, но ему, пожалуй, было не до меня, и вряд ли мог он что-то заподозрить. И тут я посмотрел на Алексея не как на незнакомца, а как на своего пациента – по профессии я врач-психиатр – и, негодуя на себя и одновременно оправдывая задуманное тем, что смогу помочь больному, и тем, что это неофициальное лечение в экстремальном случае, когда человеку крайне необходимо выговориться, я решил использовать без ведома пациента, давая клятву, что это в первый и последний раз, гипноз.

Я подсел к нему, и он заговорил...

Сотрудники отдела настойчиво осаждали начальника: желающих провести недельную командировку в Риге набралось предостаточно. Очевидно, сварливые пересуды вскоре порядком надоели ему, потому что он вынужден был назначить "счастливицков", как впрочем и обычно, сам. Но если прежде те, на кого падал выбор, злились, поскольку вызовы приходили в основном из северных районов страны и, как на зло, зимой, то теперь косо смотрели тех, кто не попал в этот список – ни у кого не вызывало сомнений, что поездка в разгар пляжного сезона на взморье обещала быть великолепной.

Между тем, получив проездные и суточные, тройка благодетельствованных, уложив вещи, исчезала из института, а поздно вечером самолет, в котором находились командированные, петляя, заходил на посадку. Через иллюминатор в салон проникали вишневые отблески уплывающего в ночь солнечного диска, и внизу еще отчетливо можно было рассмотреть, различить устремившийся ввысь город, разрезанный серебристой полоской Даугавы, растянувшиеся над водой мосты, иглу телевышки, причудливые башни, шпили звонницы; пленяющие своей первозданностью.

Шесть дней, что они пробыли в Риге, как сладкий сон, истекли до обидного стремительно. С утра до обеда они посещали предприятия, выполняя задание, после обеда выбирались на взморье, знакомились с достопримечательностями латвийской столицы или развле-

кались по насыщенной культурной программе. К исходу седьмого, разомлев на белом песке Юрмалы после купания в штормовом море, стряхнув с морковных тел прицепившиеся водоросли и одевшись, они шли к станции на электричку, вдыхая душистый аромат соснового бора. Мучил голод – с прошлого вечера по случаю финансового кризиса был устроен разгрузочный день.

Прибыв в гостиничный номер, они еще раз с сожалением осмотрели пустующие бумажники, поочередно вывернули карманы, перетрясли портфели – напрасно: рубля мелочью едва бы хватило одному на вегетарианский ужин.

"Глупо, что не взяли плацкарт, наскребли б на пятерку", – подумал Алексей, глядя на купейные билеты, купленные во времена былой роскоши, и предложил – он был молодым сотрудником, два года как закончил институт – сбежать в дежурный магазин, купить хотя бы булку хлеба. Сказанное не вернешь, а так хотелось принять душ, пылающее тело словно просило обнажить себя и, обмытое, раскинуть на мягкой простыне, но он, ссутулившись по привычке пробубнил под нос: "Болван с инициативой..." и вышел из номера, хлопнув дверью.

Часы на ратуши пробили восемь, когда Алексей, купив хлеба и бутылку молока, проходил мимо летнего открытого кафе, заполненного гуляющей публикой. Из-под навеса медленно и скупно сочилась музыка. От трех стоек тянулись очереди.

Алексей подумал, «то неплохо было бы обзавестись сигаретами, в кармане еще звякало копеек двадцать, как раз на дешевую пачку, и он, поколебавшись, пристроился к хвосту.

Обслуживали отвратительно, поэтому от нечего делать Алексей принялся разглядывать посетителей. Особое внимание он обратил на коротко стриженную блондинку перед собой. Внешность девушки его поразила, но ни свободные бежевые штаны-плащевки, тоща входившие в моду, ни полосатая серо-черная французская кофта, со вкусом подобранная ею, а расширенные глаза, выразившие не то печаль, не то растерянность, не то страх. И Алексей, глубоко убежденный в том, что минутное состояние человека ни о чем не говорит, был до того изумлен, что тут же разуверился в этом. Девушка была высока, стройна, худа и заметно нервничала, переминалась с ноги на ногу, словно порывалась идти напролом. Язычок, изредка, нервно дрожа скользил по верхней губе.

Он хотел отыскать в ней причину этой неуравновешенности, плохо скрытой под жалкой улыбкой, понаблюдать и подметить, что горит под этим подвижным обликом красоты, что волнует ее, и отчего взгляд ее, как взгляд обреченного странника в пустыне утомлен и печален.

Алексей подробно и уж чересчур откровенно разглядывал ее. Прическа вполне современная, но волосы не уложены перед выходом на улицу, чего отнюдь не позволяет себе женщина ее возраста, хотя великолепный блеск покрывал мелкий недостаток, напротив, высветившая достоинства.

Руки и плечи ее были изящны, и вся фигура как будто свежа, но задумчивые глаза, большие и рассеянные, и скучный, блекло-желтый цвет лица с подрумяненными как бы нехотя щеками исподволь выдавало ее, словно металась она в вечном поиске, словно что-то теснило и гнало нетерпеливо куда-то.

Она, кажется, пребывала в состоянии женщины, трогательно переживающей разлуку и скорую встречу, и напрасно старался он отделить одно от другого, потому что два чувства, как видно, сжились и разорвать их было немислимо.

Руку левую ее украшал красный пластмассовый браслет из пластин, сложенных гармошкой, и мельхиоровое кольцо с фианитом, в ушах – серьги, как грозди красной смородины. От одежды исходил благоухающий запах "Чарли".

Повернулась блондинка неожиданно, и столкнулась с Алексеем, и кофе в чашечке, поддерживаемое на пластмассовом блюдечке, выплеснулось на шарообразное пирожное.

– Ах, осторожней!

– Извините, нечаянно получилось, – пробормотал онемевший Алексей. В замешательстве он вместо сигарет взял сок.

– Что же вы взяли один сок? – спросила она с сожалением или участием, когда он рассчитался с продавцом.

– Вы знаете, х-м... забыл деньги.

Они прошли под белые зонты со свисающей бахрамой, где отдыхала с артистическими манерами молодежь, и сели за белый столик и она, должно быть, увидела в нем то, чего в других людях до сих не замечала, потому что начистоту спросила его о том, кто он такой, аферист, авантюрист, игрок или прямой, как трамвай, человек, коих уже трудно сыскать, на что он ответил, что как специалист по сплавам занимается в Риге институтскими делами, которые сидят у него в печенках, и что жизнь, несмотря на возраст, порядком швыряла его, что он вовсе не кто-то, а че-ло-век, и что по-прежнему верит в себя и в людей, и все это сопровождалось забавными шутками; и она, смеясь, снова спросила, о чем он мечтает, и он единственный раз ответил совершенно серьезно, что хотел бы стать нужным людям.

– А вы откуда, если не секрет? – спросила она.

– Из Львова, завтра уезжаем с коллегами. – Алексей чувствовал, что навязчив, и оттого смущался. – А правда, что Рига прекрасна вечером, когда народ исчезает с городских улиц?

– Правда. Могу показать. Как вас, кстати, величать?

– Алексей.

– Ядвига. Пойдемте, Алексей!

Они вышли из кафе и повернули направо. Миновали парк с фонтанами, планетарий, гостиницу "Латвия", где его ждали голодные коллеги. Улочка вывела их к красно-кирпичному костелу. Это был центр Риги, где новь ужилась с веками прошлыми, где булыжные мостовые, зажатые каменными пирамидообразными домами, походили на желоба лабиринтов, и не один приезжий, бродив по этим местам, частенько путался в закоулках, останавливался, ругался про себя, а потом надолго задира в любопытстве голову, любуясь и восхищаясь мастерством древних зодчих. Медные лучи июльского солнца в этот час лениво катились по черепичным буграм крыш и, поиграв на вычурных витых чугунных прутьях балконов, позолотив стекла, тонули в оконных проемах, а задремавшие улицы также лениво перекрывали тени, и свет не пробивался, и какая-то особенная тихая красота окутывала кварталы.

– Здесь живет Раймонд Паулс, – кратко сказала она. Алексей тайно любовался Ядвигой. На вид ей можно было дать двадцать три. Если б он знал, что этой довольно странной привлекательной женщине гораздо больше, и что соседи сказывают о ней всякие небылицы, будто по вечерам в ее комнате раздаются душераздирающие крики, будто "чокнутая" содержит притон, будто приходят к ней под утро и вечером мужчины гуртом, он быть может не шел сейчас рядом.

– Осторожней! – Ядвига схватила за руку споткнувшегося Алексея, и по телу его пробежали приятные мурашки.

– Руки у вас удивительные.

– Это вовсе не удивительно, – перебила она, – вы не первый это замечаете. Просто я нервный человек. Во мне наверное лишние заряды. Например, чувствую руками тепло человеческого тела. Если оно холодно, мне неприятно, даже страшно. И выясняется, что человек этот действительно нехороший в чем-то. А вот вы например, когда стояли за спиной в очереди, меня согревали своим теплом на расстоянии.

– Да? – Алексей зачем-то, словно близорукий, поднес к глазам ее легкую руку ладонью вверх. – Чертовски интересно!

– Ничего интересного! Мы, в принципе, обошли весь центр города и старую Ригу. Моя экскурсия закончена. Одиннадцатый час.

– Неужели?

Они стояли посреди маленькой площади неподалеку от набережной, за которой через Даугаву изогнулся мост с зажженными фонарями. Стволы дореволюционных пушек нацелились за реку. Пахло гарью, источавшейся от асфальта, шумящей водой. К остановке подъезжал троллейбус.

– Вы сами найдете гостиницу?

– Можно я вас провожу?

– Не нужно.

Она направилась к остановке, но не дошла и обернулась. Алексей стоял хмурый и жалостливый, то опускал глаза, то смотрел на нее. Неуклюжий пакет подмышкой не держался, и Алексей положил его у ног. Ядвига возвратилась.

– Ну что с вами?

– Не знаю.

– А что в пакете?

– А-а? А-а, пакет! Черт, здесь же продукты, коллеги с голоду погибают.

– Так вам спешить надо!

– Ничего! Они наверняка уже спят или умерли. В любом случае спешить некуда.

– Да?! – Ядвига засмеялась. – Знаете, у меня еще есть три рубля, пойдемте, выпьем по чашечке кофе.

Алексей хотел отказаться, сказать, что ему неудобно, но не сделал этого – девушка знала его положение и приглашала искренне. Он согласился, но с условием: прежде посмотреть на Даугаву.

На набережной они долго глядели в безнадежно-тоскливые колыхающиеся воды. Вдалеке сердито роптал катер. Они слушали ропот, молчали, и грусть соединяла их мысли. Вероятно, до них также на этом месте стояли другие пары, как пять, пятьдесят или двести лет назад, делились сокровенным и мечтали о счастье.

Внутренне он чувствовал перед собой несчастного человека. Он видел робость в ее неловких движениях, будто она говорила и отсутствовала, а он не мог оторвать от нее изучающего взгляда, даже не представлял, как они расстанутся.

По дороге к бару Ядвига позвонила из таксофона, предупредила дочь и впервые не посмотрела на Алексея, а, наоборот, спрятала глаза. Он не проронил ни слова: девушка предупредила не только дочь, но и его. Так показалось Алексею.

В баре было довольно уютно, но непроницаемый сигаретный дым в полумраке подвальчика создавал духоту. Вокруг плясала беспечная на вид подвыпившая толпа. Не успел Алексей усадить Ядвигу за столик, как подскочил какой-то взмыленный, с туманными, словно подслеповатыми, глазами парень, настоятельно приглашая Ядвигу на танец, и ни в какую не принимал отказов.

– Моя жена этот танец дарит мне! – взбешенный Алексей схватил здоровяка за запястье.

– Понял! – парень убрался, снисходительно улыбаясь.

Принесли кофе. Гремел трубами джаз, в ушах звенел рояль, и голос Алексея совсем потонул в этом гвалте.

Между тем, к столу опять подошли. Высокий элегантный представитель темнокожей расы, в белых штанах и черной рубашке с закатанными рукавами, то и дело бросая на Ядвигу пожирающий взгляд, согнулся, приближая к уху Алексея лоснящееся лицо с оттопыренными толстыми губами. Ломанный русский язык:

– Хозяин, сколько ты хочешь за нее за ночь?

Алексей не выдержал: подошедший отлетел к стене, ударившись о выпуклый камень, упал, согнулся, обхватив руками лицо. Или случившееся никого не интересовало, или никто в красном полумраке не заметил конфликта, но вокруг танцевали, и никто не нагнулся над побитым и никто не кинулся к Алексею, чтобы задержать, как он того ожидал. Ядвига встала.

– Можете ничего не объяснять, я поняла.

Всю дорогу до дома Ядвига они молчали.

– Зайдемте ко мне? – вдруг предложила Ядвига, когда они очутились на угрюмой улице около угловатого девятиэтажного дома. – Все же я напою вас кофе.

Когда они на седьмом этаже вошли в квартиру, уютную, но бедновато обставленную, с настольной старомодной лампой под голубым абажуром на столе, где остался недоеденный завтрак, с креслами, у которых пообтрепались подлокотники, с тремя полочками книг, и он, закрыв дверь, тотчас почувствовал, что та недоговоренность, с которой они блуждали по городу, и некая неловкость, сковывающая общение, отступают, и только откровенное добродушие, страдальческое понимание захватывает их.

– Ядвига, не скрывайте, если устали. Я уйду. Если нет, я расскажу вам кое-что о себе.

Минут через пять, когда Ядвига разложила блюда, ложечки, поставила сахарницу и разливала по чашечкам кофе, дверь приоткрылась, и в комнату вошла худенькая милая девочка лет девяти.

Мама, - плаксиво пропела она, – опять у тебя другой дядя?! Лучше б был один Шурик... – Слезы заволокли недетское лицо девочки, и она убежала обратно в свою комнатку, застучав башмачками по паркету.

Ядвига дрожала; тряслись колени, взгляд метался, тяжелое дыхание было прерывисто. Она поспешно достала из черной сумочки стеклянный пузырек, открыла его, лихорадочно вытряхнула на ладонь желтые таблетки, одну бросила в рот, запила кофе, остальные кинула на столик, и они раскатились.

– Успокойся! Что с тобой? – Алексей осторожно и нежно взял ее за руку.

–Ничего, ничего... Сейчас пройдет, только не уходи, мне страшно... Ночь, одиночество, четыре стены – это ужасно. Я схожу с ума... Нет, нет, – испуганно внушала она себе. – Невроз не переходит в психоз. Так сказал доктор, я нормальная, все хорошо...

Она отрешенно мотала головой и бессвязно лепетала.

Алексей обнял ее за плечи и шептал: "Успокойся".

Ядвига не пыталась высвободиться, закрыла глаза и пребывала в полусне. Потом очнулась:

– Завтра ты уедешь во Львов. Забудь, что встретил в Риге взбалмошную больную женщину.

Алексей молчал, сердце защемила жалость, а Ядвига, боясь не высказать ему всего, что терзало, нескладно рассказывала.

– Дочери почти десять, не удивляйся, выгляжу я молодо, но мне двадцать восемь. Так вот, отец с матерью оставили меня бабушке, когда мне исполнилось двенадцать. Мать полька, отца не знаю, он никогда не рассказывал о себе, часто бывал в командировках, знаю, что он медик по образованию и познакомился с матерью в Варшаве, когда был на каком-то симпозиуме. Да, я была им в тягость. Как это все мерзко, ужасно мерзко! Я их долго не могла понять... прости, я увлеклась. Естественно, ты понимаешь, я росла без ласки и заботы, и как мне заблагорассудится. Кажется, в шестнадцать познакомилась с парнем, будущим мужем. Попреки бабушки надоели, я начала работать, – она открыла глаза, и слезы, не сдерживаемые, крупные, покатились по ее горячим щекам и, невытираемые, падали на кофту. – Училась я в вечернем университете. Но старые друзья не давали покоя ни мне, ни ему. Он ревновал, я и сама не знала, что мне нужно. Однажды ночью не пришла домой. Тяжело быть красивой, а двое из однокурсников... то есть интеллектуальных людей... разве после того они сохранили человеческое обличье? Заташили к себе... А у меня утром скандал был. Потом еще раз не возвратилась домой со дня рождения подруги – Ивар, баскетболист, привязался. А Зелма, это моя подруга, тоже несчастная по-своему баба, страдает без мужиков, пригласила ребят к себе, пообещав, что и я буду. Как откажешься? А приглашала ребят она для себя, а они же на ее празднике

все комплименты мне. Я уходить собиралась – не пускают. Зелма все тоже: "Посиди, посиди!" Еле ушла. А он, здоровый, кабан, за мной, пьяный, дурной. Затащил-таки в машину, мол, подброшу до дома. Как же, отвез к себе. Противно, как все противно! Два дня не отпускал. Что только мужу затем не придумывала. Ну, не скажешь же обо всем? Не обольешь себя грязью? Таковую, как я, если и пожалеют сначала, потом все равно смеяться будут. – Она дернула плечиками, тяжело вздохнула, неуверенно продолжила, не обращая внимания на Алексея. – Гнусно, все гнусно. Вокруг вечно какие-то сексоманы, или вид у меня соблазнительный такой. Тоже как-то, муж уехал в командировку, тут же его же друзья, лучшие друзья, черт бы побрал этих друзей семьи! – пригласили кататься на яхте, А вечером домой не отвезли, как обещали, а нас обеих, я с подружкой была, на дачу к себе. Ко мне вроде не приставали, хотя напились изрядно, но включили видеомэгафон, и когда на экране замелькали голые бабы, тут началось... то один полезет ко мне, то второй. В конце концов ничего не добились и поставили условие, пока я им ноги не покажу, отсюда не уеду. Видите ли, им захотелось сравнить мои ноги с теми, на экране. Я плюнула им в лицо. Тогда они новое предложили: если у меня ноги не кривые, искупают в ванне шампанского. А я-то тоже хороша была! «Бедово», – думаю. Ну, и пришлось им среди ночи мотать в ресторан, чтобы купить это злополучное шампанское. Денег-то у них куча, девать некуда, черт его, правда разберет, чем они промышляли, но три ящика приволокли. Один, правда, художник, Арнольд, возмущался, говорят, что неплохие вещи делает; а я, с каким удовольствием я купалась! Ох, и дура была! А художник этот потом к мужу пришел и попросил, нет потребовал, чтобы муж меня ему отдал. Сказал, что жить не может без меня. Муж весь побелел, только и сказал идиоту: "Вон!" Но обо мне бог знает что подумал. Мы разошлись. И вообще все кувырком полетело. Чуть не уехала с каким-то шведом за границу. Помешала собственная слабость, а зря. Они стараются жениться на нашей, из Союза, неприхотлива наша женщина и своих прав не знает, и если бы там развелась, то жить могла бы безбедно. Говорят, муж там обязан обеспечить квартиру и платит большие алименты...

Алексея взорвало:

– Большие?! Ты бы погибла там! Там другая система ценностей. И совесть, и честь измеряется долларом. Я одного знал...

– Потом, не перебивай. А здесь есть ли кому верить? Все равно, теперь жалею. Там хоть что-то было бы у меня. Здесь же во мне видят приманку. К кому же еще лезть, как не ко мне, красивой и дурной? Муж оставил двухкомнатную квартиру – ее превратили в притон. А как это изменить не знала, все начинают по-доброму, а потом... – она опять диагонально кивнула головой, замолкла, ее душили слезы, набрала в грудь воздуха и продолжала лепетать. – Поменяла квартиру на эту. В третьей комнате алкоголик жил. Заключила с ним фиктивный брак, и за полторы тысячи он переписал третью комнату на меня, исчез. Деньги-то в долг брала. А друзья, - она сделала паузу, – долг требуют до сих пор, достают как могут, сам понимаешь чего хотят. Противно.

Но вот появился Шурик – красивый такой – и вроде бы все наладилось. Но не женился, и эта-то неопределенность (будь она трижды забыта людьми!) сказала. Он мог делать что хотел, меня же держал в ежовых рукавицах. Ну да ладно! Я устроила его на отличную работу, знал бы он – как. Может и знал, да молчал, подонок. Дочь довел до того, что стала бояться при нем заходить в комнату смотреть телевизор. Захотел ребенка и что же? На четвертом месяце заявил, что не надо. А мне каково? Полгода до этого – сложнейшая операция на почках, пока в больнице лежала, сообщили, что умер отец. В Киеве что-то из шмоток оставалось, да машина. Шурик не поехал – слизняк он, постоять не то, что за меня, за себя не может. – Не поехал вот, возражал, зачем мол, нам это, сами проживем без подачек. Я не могла, операция. И вдруг он ушел. У меня истерика. А он то уходил, то приходил, и однажды я попыталась удержать его, страшно стало, кинулась ему на шею. Он отшвырнул, да так, что получила сотрясение мозга, сутки пластом пролежала. Позвонила знакомому гинекологу. Ночью они на свой страх и риск

тайно делали аборт, чуть не отправили на тот свет и сами чуть не сели. Чудом обошлось. А через неделю снова приступ болезни. Мать умерла в Варшаве, когда была на второй операции, так и не съездила на похороны. – Ядвига замолчала, челюсть нижняя запрыгала, она вскочила, засемила к стене, остановилась, подошла к креслу, села, опять вскочила, пошла к двери, сжав руками уши, вернулась к окну. Откиннутые льняные шторы отозвались на прикосновение таким же, как и ее, порывистым вздохом. Ядвига настежь распахнула неохотно поддающиеся ставни. Стремительно ворвавшийся волглый ветер бесцеремонно облапал ее, внес в комнату сырость, холод,

Ядвига отступила от окна и задернула шторы. В серванте на полочке нашелся огарок свечи в консервной банке. Она взяла его, запалила, поправила кофточку, села на стул и облегченно прислонилась спиной к шершавой стене. Мягкое, колышающееся освещение хорошо выделяло ее в темноте. И даже сейчас она была недурна собой, напротив, страдания только вдохновенно преобразили ее, придав чертам лица строгую изящность: и губы, и нос, вроде как стали искусно выточены острым резцом умельца.

Шторы трепыхались. Про Алексея Ядвига будто забыла и, вспоминая разговоры, события минувшей недели, она еще раз спросила себя: к чему эти мучения, к чему терзать себя, испытывать истязания других, если нет просвета, если все так фальшиво, обманчиво, глупо, паскудно устроено в этом мире. Не проще ль?

И ей стало страшно и радостно: радостно от того, что близился конец ее мучениям в этой тягостной жизни, и впереди ее ждала маковая цветущая долина, посреди окутанных дымкой голубых гор; но страшно от того, что в сером промозглом городе остались бы после нее прозябающие с веселым недоумением, приземленные, никчемные людишки, никогда не представившие долин с маками и никогда не ведавшие счастья от встречи с ними.

– Ядвига, – тихо позвал Алексей. Она очнулась.

– А-а, ты о Шурике... Он неделю назад здесь вновь объявился. Пришел поздно, и сначала сказал, что возвращается, но когда я его к черту послала, достал из сумки фотографии. Веришь, Алексей, сердце упало. До какой же низости может дойти человек. Он любил меня снимать... в чем мать родила. У него сохранилась целая цветная кассета. Тогда вот он и стал шантажировать: пожелал иметь меня, как любовницу, то есть придет и уйдет, когда захочет, иначе пообещал расклеить фотки по всему городу. Дурость? У него же мой диплом, кольцо обручальное, еще что-то из золота. Все унес, подонок!

Зазвонил неистово телефон, и Ядвига бросилась к нему, сорвала трубку.

– Аллю, аллю, аллю!

Положив трубку, она села на диван.

– Это он. Постоянно звонит, когда вздумается, и молчит. У меня совсем плохо с нервами: все эти наркозы, операции, друзья, враги, приходы, уходы, интриги. Врач сказал, что нужна еще одна операция. Положили в больницу – в которой уж раз – готовили к "ножу", тянула что-то, потом отпустили. А знакомая подруга, она хирургом работает, открыла тайну: побоялись резать, потому что думают, что не выживу. И еще сказала, что по моей болезни врач думает, что я более года не протяну, если операция будет удачна. И теперь я чувствую себя как под колпаком, вернее никак себя не чувствую, не слышу звуков иногда, запахов цветов не ощущаю, теряюсь в городе, дорогу перейти не могу. А дома – просто кошмар, боюсь к двери повернуться. Когда двери не вижу и окно зашторено, кажется, схожу с ума. И тогда ночью у меня появляется новый мужчина. А им все одно, но ведь не расскажешь, зачем они здесь. Кажется, настоящие, навсегда, а ночь проведут и исчезают, и такое опустошение потом.

Резкий пронзительный звонок в дверь заставил ее вздрогнуть. Алексей машинально посмотрел на часы. Четверть третьего. Ядвига пошла открывать.

– А-а, Карлос! Здравствуй... Ты что? Ночевать негде? Поссорился с женой... Ну, не знаю, я не одна.

Выглянув в коридор, Алексей первым делом заметил из-под спины Ядвиги ботинок, грязный, порванный, а рядом с ним початую бутылку водки. Сам Карлос, небритый, помятый с подбитым глазом, охал на детском стульчике, намекая хозяйке, что выпроваживать его бесчеловечно. Но голос Алексея был тверд:

– Слушай, ты здесь лишний!

Без разговоров Карлос встал, забрал бутылку и вышел. Глаза Ядвиги были усталы и неподвижны, устремлены в потолок.

– Что ты знаешь о заграничной жизни, Алексей?

– О заграничной? Знакомый у меня есть, с братом не виделся лет тридцать, тот в США живет. Как-то он оформил визу и приехал к нему. В аэропорту встретила жена, встретила, конечно, шикарно, а брат не смог, потому что, как потом объяснил, не хотел брать отгул, чтобы не диспланировать работу предприятия. Вот так. Разумеется, производственная дисциплина – это хорошо, можно поучиться, но если посмотреть с общечеловеческих позиций? На которых мы воспитывались?

– Это ерунда. Моя подруга собиралась покинуть Союз. Родной дядя, бежавший в Израиль, обещал ей сказочные условия. А она-то, бедовая, вовремя поняла, во что ей обойдутся все эти условия. Заметила, что смотрят на нее, не как на племянницу. Не поехала, а мне-то все одно, со шведом можно было бы ехать.

– Это тебя мучает?

– Ах, нет не мучает, – и она почти прошептала, – мне кажется все время со дня смерти матери, что ее похоронили живой. И если бы я была рядом, этого бы не случилось. У нее наверное был летаргический...

– Случай, – Алексей чуть было не улыбнулся, но сдержался, – это же нервы, выкинь из головы, ты знаешь прекрасно, что теперь делают с трупами.

– Я понимаю, но, – договорить она не успела, потому что опять последовал звонок.

"Это действительно кошмар", – подумал Алексей. Было досадно, что разговора по душам о главном не получается.

– Ты одна? – спросил мягкий голос и то, что было потом, для Алексея обрело смысл спустя тягостные мгновения после ужасающего крика Ядвиги (так кричит смертельно раненный человек). Бледнея, Алексей слышал, как у двери началась отчаянная возня, Ядвига кричала, пытаясь закрыть дверь, а пришелец, должно быть, поставил на порог ногу.

Алексей бросился в коридор. Парень лет двадцати пяти, встретившись с осатанелым взглядом, отшатнулся. От неожиданности глаза его на плутоватом лице округлились, однако ворот рубашки трещал, и тело плыло обратно за дверь; он пытался что-то возразить, беспомощно хватался за руку, но Алексей без тени жалости пинком мощным отправил его с лестницы. Упав, парень покатился вниз, вскочил было, но новый удар по лицу тотчас сбросил его дальше по лестнице. Алексей бил его с угрюмым остервенением, с лихвой воздавая сразу за все, и бил до тех пор, пока парень не открыл головой подъездную дверь и не вылетел на мокрый – накрапывал дождик – тротуар.

А Ядвига тела как будто не чувствовала, и голова гудела и горела как накаленный шар, раскачивающийся на весу и бьющийся в железобетонные стены, и в расширенных жилах упруго пульсировало, а она, разжав пальцы, распласталась на диване, всхлипывая, представляя свое истерзанное муками тело и представляя его, Шурика, как будто радующегося от ее беспомощности, подавленности, испуга. И снова перед ней возникли лживые, изменяющиеся глаза, и словно в каком-то злобном отчаянии она засмеялась, протяжно, глухо, как будто от ее смеха эти глаза должны были лопнуть, брызнув ядовитой зеленой, именно зеленой, как у гусеницы, жидкостью с вонючим запахом.

Она в беспамятстве смеялась уже громко, вызывая с дьявольским рокотом и билась телом в истерике, судорожно клаца зубами, и если бы сейчас Алексей посмел прикоснуться

к ней, она бы, не раздумывая, кинулась к нему с явным намерением задушить, растерзать, впитаться ногтями в щеки и содрать с них кожу. Глаза ее пунцовели, щеки и подбородочек дергались.

И вдруг она закричала снова и, свалившись с дивана, каталась по голому, без паласа и ковровых дорожек полу, в кровь кусая тоненькие губы и разрывая на себе кофту, пока головой не ударилась о ножку стола, отчего загремела посуда, и это отрезвило ее. Она села на колени, тупо озираясь по сторонам, хрипло дыша, соображая, наяву ли с ней происходит, и убеждаясь, что, пожалуй, наяву, и потому, что на полу холодно – через шторы просачивался вязкий влажный воздух, – и потому, что кровоточат губы и лоб. Она закрывала, открывала глаза, хлопала кукольными, чудными ресницами, со стоном роняла на пышную грудь голову, затем поднимала ее и запрокидывала назад.

Неистовый ветер хлопнул звонко задребезжавшим окном о стену. Ядвига опять вздрогнула. С трудом приподнялась, сделала шаг и опустилась на диван.

Она лежала не шелохнувшись, испытывая смутное состояние дурманящего спокойствия похожее на спокойствие стилого на ветру сада, заваленного мокрыми листьями, и только бессвязная серия вспышек, движений людей, лиц, мелькание красок, чередующихся с фонтанами брызг от волн в шторм струились непрерывным широким потоком в растревоженном сознании. И этот поток не сразу, постепенно, сперва едва уловимо, потом все отчетливее, стал сопровождаться поистине блаженной музыкой, возвышенной, невесомой. Звуки заполнили полурепальный мир, она даже удивилась их невообразимому ошеломляющему множеству, и еще она удивилась тому, что они были точь-в-точь похожи на те звуки, бесконечно далекие и между тем близкие, как будто она сама возродила их и сейчас, с облегчением отделяя, словно парила вслед за ними в искрящуюся пустоту, безмятежное пространство.

А Алексей, оперевшись жаркими ладонями на ледяные перила моста, за ночь набравшие сырости, склонил голову над дремотно ползущим без ряби водяным потоком; он содрогнулся от холода в эти предрассветные часы вовсе не думая о том, что через три часа отходит поезд, когда заняв удобную полку в купе, сняв туфли и пропотевшие носки, можно будет спокойно забыться под убаюкивающий перестук колес; выкинуть навсегда эту колдовскую ночь с умопомраченной Ядвигой, развернуть добротный журнал с цветными фотографиями и, читая, с каждой строкой, с каждой минутой отдаляться от неизбывной радости встречи с Ригой, и с жестокой непроходящей болью отдаляться от больной, с вымотанными нервами Ядвиги, запутавшейся в интригах, тешить себя надеждой, что в судьбе твоей до безынтересного просто и гладко; однако он содрогался от холода и от гнетущей мысли, что после его отъезда Ядвиге не жить более на этом свете. И еще ему было страшно, безвыходно страшно от того, что только здесь после этой ночи на квартире Ядвиги, после ее рассказа ему вдруг открылась чудовищная по правде тайна, что в поступках своих, в легкомыслии он давно уже далеко забрел в бесконечный тупик, из которого не видать ни зги, когда окружающие стены лжи обрекли его на каторжные мучения.

Он еще сомневался, опять страшился, но не горького осознания тайны правды, а того неизвестного, что подстерегало его после раскаяния, и он, пытаясь бодренько отделаться от назойливого голоса – голоса совести, словно старался утопить, потушить раскаленные мысли в этом потоке, но они неотвратимо, неизбежно, вновь и вновь, яростно раскручивались в бушующей памяти из сжатой спирали.

Страшно мне, честные люди! Как мне страшно, слы-ши-те! Как подло, гадко, мерзко я жил. В двадцать шесть лет пустота, в расцвете молодости – пустота... вакуум. Восемь невосполнимых лет /восемь!/ потеряны безвозвратно. Они впустую растрочены. Ради чего? Чего ради, скажите мне, люди?! Ведь не жил я, не жил, играл, да и только. Смешно? Играл вот однако. Я млел от удовольствия и был счастлив, что меня окружает безумный, блистающий мир, свободный, раскованный, где никогда нет забот, где безраздельно властвует вечный покой

и праздник, где все так просто: без аляповатых фантазий, без обещаний и клятв, без привязанностей, где бесчестье выдается за честь, швыряется в дрянь святое понятие честности, и расчет царит сплошь и рядом.

О, ужас! Мы бездумно хамили, когда оплеванный и осмеянный нами же правдолюбец и моралист разумно пытался оттащить нас от края пропасти, куда мчались мы, дрались и рвались, отпихиваясь от заботливых предостережений, считая их стариковской ересью, чтобы в один момент ухнуть с диким воплем вниз и разбиться насмерть, но не телом – душой, чтобы вот так, глупо, никчемно покончить безумный бег в погоне за наслаждениями.

Мы красиво кутили в барах и ресторанах на выклянченные родительские или с легкого благословения отданные деньги, или на те, шальные, быстрые, добытые на фарцовке и дисках, мы кутили, и хмельными, ослиными физиономиями ворочали по сторонам в поисках таких же ослиных под зеркальными очками физиономий и ждали очередных наслаждений. По какому, спрашивается, праву, требовали мы от жизни ханских привелегий?

Мы погрязли в роскоши, зависти, злобе, в мелочной суете, став жертвой нашего времени без тревог и мучений. Нам жилось так вольготно, что лень и скептицизм сожрал на корню крохотные побегии благих намерений, которые бы каждого из нас, быть может, увековечили, приложи мы хоть часть стараний. Но мы продолжали безумный бег, переживая сопровождающие нас к падению пинки под названием "бум" в разных лицах и красках, по сущности выражавших игру ни во что с поклонением золотому тельцу.

Когда же нам справедливо был предъявлен жестокий расчет, то беспомощно заморгали, потом отчаянно завизжали, начали изворачиваться, приспособливаться, ломаться, потому что оставаться теми стало невозможно. В самом деле, те, что были проворнее и хитрее, сменили свой устаревший маскарад и снова безбедно устроились, другие, менее набравшиеся гнили, вдруг растворились в безликой, серой, лицо к лицу, массе, третьи, разочаровавшиеся во всем, пытались унестись в мир иной: водка, ампула, шприц и резинка заменили им силу рук и энергию мысли, между тем как прозревшие, готовые дорого заплатить за заблуждение, встали в строй с теми немногими, у кого не погасла вера в человека, и кто упрямо карабкался к цели все это время.

А я?

К какому числу отношусь я, если во мне грызется вот это?

Но страшно мне было видеть этого Шурика. Словно не он стоял передо мной, а я – второй, или третий, потаенный, ликующий, скользкий и плачущий, радующийся и беззаботный, довольный, деловой, или сосредоточенный, или возмущенный, – а все одно – подлец, – выплыл на свет перед собой, забытым, перед своей забитой, задавленной совестью. Или эта жизнь моя гадкая, прошлая предстала в ту минуту ошарашивающе и неприглядно в своей бессовестной наготе?

Как страшна она, люди! Как запущенный ветхий дом с прогнившими балками, с осыпавшейся штукатуркой, с хлопающими ставнями, покосившимися карнизами и мертвыми комнатами, где по облезлому полу изгаляются гадюки... "

И он с тайным, захватывающим дыханием ужасом вспоминал, вспоминал пока бежал домой к Ядвиге, пока поднимался бегом по лестнице на седьмой этаж, пока будил ее, обессиленную, пока собирал необходимое женщины и ее дочери в одну спортивную сумку, вспоминал когда они втроем ехали в такси на вокзал, когда впопыхах забирал вещи из рук озлобленных приятелей и, ничего не объясняя, просил отдать ему все билеты, когда в купе усадил на колени дочь Ядвиги, и та с восхищением сказала маме: "У него такие глаза! Какие и не скажешь, но очень взрослые и добрые очень. Ты как-то лучше стала сегодня выглядеть. Ты ложись спать с ним, тебе, ведь тепло с ним, хорошо, правда?!": он вспоминал выход из тупика.

И когда поезд уже тронулся, и он, прислонившись лбом к пыльному, холодному стеклу в тамбуре, стоял ссутулившись и медленно вбирал в легкие ядовитый дым, казавшийся горь-

ким (но смертельно горьким был жестокий расчет, предъявленный жизнью), тот единственный выход из тупика, в который завел сам себя и из которого неимоверно трудно – уж поверьте! – выбраться, вдруг засиял ослепительно мириадами искр в еще не счастливых, но успокоенных Ядвига. Алексей стоял, курил, уже видел заветный путь, и слеза еле-еле ползла по загорелой с черной щетинкой щеке, а мимо медленно и величаво ползла береговая, закованная в бетон полоска, о которую также тяжело и медленно разбивались искрящиеся жемчужные волны Даугавы.

... Теперь, когда Алексей с наслаждением излил свою боль и освободился из-под возникшей власти гипноза, потеряв способность оценить время, а прошло более часа, и, обмякнув, сидел слегка наклонив голову, с досадой глядя мимо меня, очевидно, душой обращаясь в прошлое, мне стало не по себе. Не знаю почему, но насладившись мгновениями запретной жизни, любопытство – этот ненасытный зверь – сменилось угнетающей злостью, хотя трудно сказать, что я испытывал: то ли едкое раздражение, то ли зеленую скуку, то ли дикий стыд.

Но вот он вздрогнул, иступленно потер бровь и поднес к изумленным глазам японскую штамповку, и цифры на электронном табло пластмассового кубика вывели его из оцепенения. Он встал.

Через пять минут мы были в тупичке на тускло блестящей булыжниками мостовой. Зеркально-глянцевые они отражали бесовский свет фонарей редких скупно и неохотно, и я вспомнил взлетно-посадочную полосу на аэродроме, огни которой также, едва пробиваясь сквозь вязкие рваные клочья тумана, указывают самолету путь к дому.

Я не сомневался, что Алексей шел домой. Вскоре он направился к притемненному подъезду, откуда в тапочках на босу ногу в воздушном домашнем халатике выскочила Ядвига, и, порывисто обхватив широкую спину Алексея и крепко прижавшись, продолжительно целовала его мокрое и усталое от переживаний лицо.

– Прости, Ядвига, прости. Без тебя мне не жить, – голос его был также уверен, а она по-моему всхлипнула и ласково вывела; – Милый, я в тебя верила, но боялась обжечься, как раньше, и мешала с теми... – Несколько слов пропали в шепоте, и опять те же ласковые интонации. – А ты мой, мой, я верю тебе... А поэт, безумный, он читал свою поэму, не ахти ценную, но ведь не уйдешь, чего доброго выброситься из окна...

... Понимаешь, я после всего, после ухода этого Шурика, стала бояться ... смерти. Раньше, до всего так не было. А с тобой боюсь... Я, конечно, понимаю, что это психический сдвиг, но мне кажется, что смерть моя это ты. Пока ты со мной, я буду жить. Понимаешь, я не переживу еще одной утраты. Молчи. Я знаю, что ты хочешь сказать. Ты скажешь, что я счастлива, так как держу свою смерть в своих руках, потому, что смерть меня любит и ласкает. И пока я буду ее любить, пока не буду злить, смерть не обрушится на меня.

Ты говоришь, что твоя любовь навсегда. Смотри, запомни свои слова. Не забудь их потом. Или ты погубишь меня, если...

Не оборачиваясь, я шлепал по мокрым камням. В голове было свежо и пленительно-покойно, а слух еще сохранял наполненный ранимой теплотой шепот: "...я верю тебе".

Я уперся в тупиковый забор. Нужно было возвращаться. И тут, что-то непонятное толкнуло меня вперед, заставило перелезть через плотно забитые доски. По студенистой склизкой глине, хватаясь за мокрые стволы редких деревьев, уцепившихся когтями корней за крутой склон темного парка, я спустился к шоссе. У остановки втиснулся в таксофонную будку с единственным дрожащим в горле решением позвонить ей, той, кого любил, теперь это стало наконец для меня истиной, но все пятнадцать лет, сколько знакомы мы, только звонил ей, когда чаще, когда реже, еще реже приглашал в театр или на пирушку к знакомым, еще реже дарил цветы, но не рвал невидимую нить между нами. А она все ждала, ждала меня... поумневшего...

октябрь 1986 г.

ИСТОРИЯ БЕЗ НАЗВАНИЯ

Зарисовка

Скажите честно, вы были когда-нибудь в сосновом бору? Почему честно? Потому что современность наша порой безжалостна к этому прекрасному и удивительному, но больше удивительному, чем прекрасному уголку природы.

Так вот, если вам все-таки посчастливилось побывать там, призадумайтесь чуть-чуть, хотя бы самую малость, чтобы потом, разбудив в себе настоящую бурю мыслей и чувств, задуматься всерьез. Где еще дышится так легко и привольно! Ноги по щиколотку утопают в пышном покрывале изумрудного мха, глаз радуется от пьянящего, переполняющего бор света, от неопишуемой голубизны бездонного неба.

Неспеша вы идете меж гладких высоченных стволов. Аромат душистой, смолистой коры вбирается в вас, щекочет в гортани, вызывая массу ощущений, и, кажется, что нет минуты более приятной, чем эта. А гордые величественные сосны растут необыкновенно широко, на расстоянии шести-восьми метров, словно подтверждая свойственную их телу широту природы. И ничто не сдерживает их безудержного стремления вырваться еще дальше, ввысь, в небо, в бесконечность. Как покоряет поистине безумная настойчивость! Как покоряет тишина, рожденная в их могучих вершинах, или, как гулко шумят на ветру их непреклонные головы.

Прислушайтесь к бессловесной исповеди.

Они рассказывают о своей судьбе...

Однако вы не замечаете этого и не внимаете правдивым речам, хотя действительно стоит, уж поверьте на слово.

Но вот впереди замаячило что-то. Пристально всматриваясь, вы подходите ближе, и вашим глазам открывается поражающая жестокой откровенностью картина, поневоле заставляющая остановиться.

Два сросшихся, искривленных, истерзанных вечной с момента встречи ствола пытаются освободиться друг от друга. И тягостно созерцать, и рады бы вы помочь, но слишком уж поздно. Бродяга ветер, баловень судеб, бросил когда-то на этом месте два семени. В жажде любви молодые побеги встретились, согрелись своим теплом, но злой рок судьбы – с тех пор бьются они, бедные, изгибаются, сталкиваются, оба тянутся к свету, к свободе, но все бестолку, оба чахнут и засыхают.

А сколько таких калек, поискав, обязательно найдете вы в этом бору? А в соседнем? А по белу свету?

Зато на угрюмом утесе, с древности воспетом поэтами, под шум морского прибоя, под вой ветра и пронзительный крик чаек из года в год набирает силу сосна-одиночка. Ствол ее тоже искривлен, и дикий климат наложил на его безупречную гладь печальные метины, но мощные корни, вгрызаясь в камни, достают воду, а костлявые лапы, сгибаясь под натиском фиолетового неба раскаяния и смирения, не ломаются, а упорно ползут и тоже к свету, как сосны-калеки, но отнюдь не к свободе, потому что свободны.

Нет, право! Лучше быть гордой одинокой сосной на вершине, продуваемой всеми ветрами утеса, чем в тихом бору скверным сушняком, скрестясь с себе подобной и погибнув.

1987 г.

НЕУДАЧНИК

Рассказ

ТЕМ, КОМУ НЕ ВЕЗЕТ.

В какие бы броские карнавальные костюмы не наряжался предновогодний город, какие бы маски и мишуру не цеплял он в романтический вечер и фантастическую лунную ночь с бледным оком звезд, когда жизнь кажется вечной и удивительной, как сказка, а загаданное сбывается, он всегда остается городом забот и ожиданий, потому что живут в нем обыкновенные люди, которые любят, страдают, ненавидят, веселятся и ликуают, и их заботы – это вечное преодоление...

Он думал только о ней, о ней и ни о ком более. Наказы Кати напрочь вылетели из головы. Кто такая Катя? Это его супруга. А тем не менее он должен был купить торт, забежать на переговорный пункт, чтобы поздравить бабушку, занести подруге жены билеты в театр на первое января и... еще что-то, но он думал только о ней.

Он – это Артур Бостан, двадцатилетний студент, третьекурсни́к биофака, ни положительный, ни отрицательный герой нашего времени, не внешностью, ни чем другим не выделяющийся. Иногда он рассеян и поправляет очки, словно концентрирует мысль. И на самом деле он действительно напряженно думает. Галдящие люди, оспаривающие первенство в очереди на машину с зеленым глазком, не мешают ему. И толкотня в зудящем оживлении улиц никогда, никогда не прервет поток его мыслей также, как электронные часы на его руке не затормозят безжалостного отсчета уходящего года. «Ну и пусть, пусть убирается этот год. Зачем сожалеть? Надо думать. О чем? Ах! О ней».

Артур высчитал с приблизительной математической точностью, что не видел ее целых пятьдесят два дня. Последний раз они встречались девятого ноября.

«Что же изменилось за это время? – мысленно задал себе он вопрос и... грустно усмехнувшись, ответил, – ничего. Ничего не изменилось за триста шестьдесят, за эти пятьдесят два – тем более».

Он шел и думал о ней, потом о себе, о Кате...

Вдруг кто-то схватил его за рукав куртки и потянул в сторону, буквально выдернув из живого потока. Он неожиданности он оторопел, заморгал, плохо осознавая, но пальцы, вцепившись в голубую болонь, держали его мертвой хваткой.

Перед ним стояла цыганка; в годах, но еще молодо выглядевшая женщина. Ее лицо с чуть обозначившейся сеточкой морщин и орлиным носом тонуло в мохнатом воротнике шикарной дубленки, голова, замотанная в черно-бардовый цветастый платок, напоминала дыню. Женщина так и держала его рукав, а на смугловатой коже играли отраженные зеркалом витрин блики проскакивающих мимо машин, неоновый отсвет рекламы, гирлянд.

– Родной, – скороговоркой, глухо и с ударением на последнем слоге обратилась она к Артуру. – Вижу, ты очень добрый человек. У тебя добрые глаза, и я тебе погадаю. Всю правду скажу. Денег больших не возьму. Ты хороший человек, и я хочу сделать для тебя добро.

Артур молчал. Цыганка тараторила, как заведенная.

– Чтобы правдой оказались слова мои, клади полтинник, не жалея, – она протянула руку, раскрывая узкую, белую ладонь.

Смущенный Артур топтался в нерешительности. Рядом мельтешили незнакомые люди и глазели с таким откровенным интересом, как будто это касалось их лично. Артур порывался было уйти, но почему-то представил, что прохожие подумают о нем, как о скряге, и эта мысль заставила стянуть перчатки. Он порывался в кармане, достал горсть мелочи и отдал женщине. Гадалка отсчитала ровно пятьдесят копеек, спрятала, а остальное вернула.

– Больше не нужно. Убери, – она с хитринкой и как-то пронзительно быстро взглянула на Бостана.

– Чтобы поверил мне, скажу что было. Скажу конкретно. Ты женат...

Артур изумился, потом бросил взгляд на правую руку; обручального кольца не было. Он точно помнил, что не одевал его и снова изумился.

– Жена у тебя высокая, стройная, симпатичная брюнетка. Она тебя очень любит, ведь так? – гадалка вонзилась в Артура горящим взором, и ни один, самый отъявленный лгун, не смог бы соврать, если бы даже и захотел, под этим живым рентгеном.

– Да, так..., – промычал Артур.

– А еще у тебя есть сестра. Очень красивая девушка. Но она блондинка.

Артур смиренно кивнул головой.

– Ты мне веришь теперь?

– Да, – как-то робко подтвердил он.

– Тогда задавай любой вопрос, отвечу, – поторопила женщина, и Артур в тон ей, автоматически спросил о том, что основательно грызло в последнее время.

– Что меня ждет впереди? Вообще в жизни?

– Не боишься узнать будущее? Жизнь неинтересной не покажется? – быстро переспросила цыганка.

– Нет, говори...

– Проживешь ты долго. Богат будешь. Известен будешь, слава гонится за тобой по пятам. Все у тебя будет. Жена всю жизнь любить будет. Одного не будет. Счастья. Несчастлив ты, хоть удача в руки плывет и все удается. И многого ты достигнешь, и жена счастлива будет, и дети. Но не ты, – гадалка приостановила бег своих речей, но лишь затем, чтобы через мгновение, но уже размеренно продолжить.

– Много могла бы тебе предсказать, но то – вода. А сейчас иди к ней. Она тебя ждет. Иди, иди. Купи цветок и иди.

Женщина отпустила рукав Артура и, бросив жертву свою на растерзание унылым думам, влилась в человеческий поток.

Губы Артура беззвучно шевелились.

«Как она точно про жену и сестру... Да и потом. Но кто же ждет меня? Кто она? – он хотел задать этот вопрос, но женщина исчезла.

Артур осмотрелся. Метрах в ста виднелся рынок. Издали прилавки были похожи на оранжею. Огромные букеты, казалось, протягивали лепестки и просили: «Купи, пригодимся».

Артур долго примеривался, ходил от одной торговки к другой, пока не выбрал огненно-пламенеющую гвоздику в звонко хрустнувшей на морозе обертке.

Ехать или не ехать? Артур колебался. Однако выбор созрел сам собой. Бостан влез в магазин, извинившись, без очереди купил коробку конфет. Шампанское раскупили.

Только третий таксист согласился подбросить его...

Это случилось год назад.

Выпив в кафе, приятного цвета, со вкусом мандарина «Золотистый» напиток, Артур решил поискать студенческий клуб. Не за горами была сессия, сложная и насыщенная, на языке студента именуемая не иначе, как «вешалка», а возбужденной голове, вместившей солидный объем химических формул, справочных данных, биологических терминов, из «Биохимии Ленинджера», требовался отдых, хоть какая-то разрядка.

«Иначе я сойду с ума от ума», – метафоризировал Артур.

В зале веселилась молодежь. Узнав среди виртуозов танца завсегдатаев клуба, филигарных мальчиков, отнюдь не блещущих познаниями в проблемах современной биохимии, он кивнул им в знак приветствия и, медленно приближаясь, стал перебирать наигранные, в духе времени реплики – те визитные карточки, что дают право обладателю их удачно «вписаться» в эту шумящую массу и раствориться в ней. Артур не любил быть на виду. Он с превеликой радостью глотал за вечер сто с лихвой страниц «Органики», но не выдерживал и пятиминутного лидерства... Для него это в равной степени означало взобраться на Эверест. И поэтому сейчас, краснея от смущения, ругая себя за наследственную некоммуникабельность, он готовился пробормотать нечто: «Надеюсь я не побеспокоил? Позвольте прервать ваш, сугубо кон-

фиденциальный разговор», после чего его могли либо отвергнуть, либо любезно пригласить развлечься.

И тут, спутав весь план, длинная рука девушки в билоновом платье остановила его и привлекла к себе на расстояние близости непервого знакомства, и тихий, чарующий голосок, обрушился лавиной на Артура.

– Моя подруга хочет с тобой познакомиться.

– А... откуда... она меня знает? – почему-то заикаясь спросил Артур и покраснел от мысли: "Вечно меня выдергивают..."

– Это пока секрет.

– Хорошо.

Он последовал за билоновым платьем в дальний конец зала, где за пультом тумблеров, ламп, кнопок и регуляторов лихо справлялся диск-жокей, а на плексигласовом, матовом экране, во всю стену прыгали по воле интегральной схемы цветные полукружья.

Артур указательным пальцем поправил очки и вопрошающе уставился на девушку, к которой его подвела незнакомка. Билоновое платье незаметно исчезло за спиной Бостана.

– Таласса.., – тихо сказала девушка, прислушиваясь, и ее глаза -две большущие сливы, лукаво метнули свои огоньки. Она танцевала.

Впечатления знаменитых путешественников Жан-Ива-Кусто и Алена Бомбара, наткнувшихся в глубине Австралии на редкостный экземпляр экзотического животного, пожалуй, ничуть не отличались от впечатлений Артура. Он, конечно, не знал, что "таласса" -по-гречески "море", и в песне поется о море, но таинственное слово и ее палец, прислоненный к губам, поразили его, разрушив внутреннего врага – извечную инерцию. Волнистые, спадающие с плеч паутинки волос на маленькой голове, фигурка статуэтки и смертельная красота ведьмы. Ее лицо было как материализованный звук, песня, ровное и чистое; если ураган страстей пронесется над ней, оно не ощутит его, не сломается; если внешняя фальшивая сила бросит тень на нее, оно не почувствует тени. Она жила в танце, самозабвенно, безрассудно, как тлеющее сердце вдруг начинает сгорать в безумном пламени любви. А ее танцу, казалось, покорялись все танцующие вокруг. Счастлив человек, не ощутивший при этом, как сам он ничтожен и одинок. Артур не был в их числе.

Когда девушка, покоряясь усталости, остановилась наконец и заговорила, он готов был поклясться, что свои двадцать прожил впустую, если не встретил подобной девушки. Существует же особый тип людей-романтиков, мечтающих попасть в гущу событий, вращений, захватывающих историй, но увы, мечты лишь мечты. Но он был никогда не посмел подойти к этой девушке, воплотившей в себе истинный идеал – ангел гордости, и только ее знак внимания, выразившийся в просьбе Билонового платья о знакомстве, вручил ему ШАНС.

Однажды в армии он услышал от друга то слово в бурной словесной перепалке, возникшей, разумеется из-за девушки. Но тогда он не придавал значения, не ощутил его смысла, – вернее не пережил, и не смог понять друга, единственного, которому доверял самое сокровенное. Потом Артура комиссовали по состоянию здоровья, а друг остался дослуживать в далеком гарнизоне под Читой, и больше судьба не дарила Бостану настоящих друзей. И вечное чувство скуки и одиночества парализовало его, а шанс, как ни странно ассоциировался с образом друга. Но вот эта встреча и внутренний голос опять всколыхнули былую нить светлых воспоминаний. Надо было реализовать свой шанс. И хотя Артур сомневался в силах своих, образ друга, вложив в руки силу, подтолкнул его к глухой стене немоты, чтобы раз и навсегда сломить преграду.

Сердце дрогнуло и замерло. Объявили медленный танец. Краснея, Артур пригласил ее. Девушку звали Инна. Кружась рядом с ней, в такт плавным движениям ее гибкого тела, ему вдруг впервые захотелось понравиться ей. Внешность – она сковывала его. Он не был красив, и атласная кожа не скрывала упругие бугры его мышц. «Понравлюсь ли я ей?» – без конца

задавал он вопрос и молчал. А девушка, словно угадав его состояние, замкнулась и, видимо, не собиралась протягивать руку спасения.

Голос Эллы Фитцджеральд по-прежнему завывал, путаясь с бушующим саксофоном и роелем. Американская певица пела для них, так по крайней мере, казалось Артуру. И для него этого было достаточно, потому что еще вчера, робкий юноша в обществе обаятельной девушки, потерявшей счет поклонникам, представлялся ему смешным и нелепым. И вот эта явь, ошеломляющая, приятно-томительная. Она владела чувствами и мыслями Бостана, управляла полетом его души...

Если бы человек не вкушал удовольствий, пусть быстротечных, но все-таки удовольствий, он бы чувствовал вечную неудовлетворенность, тоску или просто не видел смысла своего существования. И, право же, как замечательна жизнь! Мы живем в предвкушении чего-то значительного и в ожидании своя прелесть. И прозрев, осознав себя, как-то выглянув на рассвет в окно, пронизательно изрекаем: "А ведь снег идет!", хотя хлопья застилают колпаки девятиэтажек без малого целый месяц.

Инна глубоко вздохнула. Разметавшиеся волосы, ищущее выражение лица. В глазах – безмолвная арктическая пустыня. И Артур телом ощутил леденящее отчуждение. "Кретин! Заспиртованный скорпион! Танцевать без звука, как сушеная вобла".

– ... по-моему, я не ошибусь, – осмелился-таки Артур, – если скажу, что ты очаровательна.

– Да?! Ты тысячный в списке, кто это сказал. Я загадка. И никто никогда не разгадает меня.

Хоп! Пощечина!

"Кретин ты, Артуха, кретин. Банальность – враг искусства, а общение – это тоже искусство, тем паче с такими девушками". И, не желая проиграть поединок, он кинул последний козырь, реализовал ШАНС.

– А ты знаешь, я умею гадать. И могу предсказать судьбу.

– Ты цыган?! – она скептически осмотрела его.

– Нет, – отчаявшись, ляпнул он, довольно беспечно. Выход нашелся, – он прочел на днях дряхлый от древности томик "Хиромантии".

Любовь творит с людьми чудеса. Артур преобразился. Теперь перед Инной стоял вовсе не стеснительный, хилый студент в очках, а мушкетер, покоритель женских сердец, великодушный защитник их чести.

– Нужна твоя рука.

Инна осторожно подала горно-хрустальную руку, как триста лет назад дама сердца протягивала благородному рыцарю розу, и Бостан также осторожно заключил ее в свою.

Не подкачай, брат, – успокаивал себя Артур, – если боишься, обязательно проиграешь. Смелее!»

– О! – воскликнул он. – Ты очень смелая и независимая девушка...

Музыка и танцы, казалось замерли в эту минуту. Артур продолжал: – Видимо, ты высокого мнения о себе, потому что не страдаешь от одиночества. Ты имеешь ослепительный успех, огромное число поклонников. Но что-то в тебе есть неуловимое. И эта внешняя, напускная веселость – своеобразная маска. Не исключено, что ты испытала глубокую личную трагедию. Но ты сама не знаешь, что хочешь. И еще: с точки зрения молекулярно-кинетической теории и моей банальной эрудиции, если этот вопрос рассмотреть глобально, то ты непостоянна.

– Вот так?!

Инна была приятно удивлена прорвавшимся голосу этого неприметного парня. Она уже примечала упрятанные те ценные черты, что возвышали его в образе такого Леофана, над общим числом ее обожателей. Но ведь это могла быть и рисовка? Обыкновенная, заурядная, когда прямо на глазах мизерный человек вырастает до размеров фешенебельного небоскреба.

Кто же он, этот скромный Артур? Двойник или искренняя юношеская натура? И она решила проверить.

– Французы говорят: «Я люблю, потому что люблю». Я непостоянна. И если твои первые слова прозвучали, как признание, то ты потерпишь крах. Не так ли, Артик? Но я загадка, и ты никогда не разгадаешь меня.

Она кокетливо стрельнула глазами и, подтверждая, что попусту слов не бросает, махнула рукой: – Эй! Олег! Этого хватило, чтобы усатый, рослый блондин с пышной шевелюрой и горбинкой, только украшавшей его нос, безапелляционно покинул партнершу и подскочил к Инне.

– Мое почтение...

– Ты не возражаешь, если мы потанцуем. А то назойливый кавалер, – она обратила свой взор на Бостана, – навеки разлучит нас.

– Сомневаюсь! – пророкотал Олег, как всадил топор в полено.

Артур оторопел. Бесцветная жизнь его распахнулась в неприглядной, бессовестной наготе: сплошное отступление без боя, без единого выстрела, схватки. Он подпирает холодную стену, еще минуту назад воплощавшую в себе золотую стену храма счастья. Блеск и мишура вечера разом сгорели. Он провожал пару взглядом смертника, который прощается с голубым небом прежде, чем положить голову на плаху. В глазах обнажалось не то сожаление, не то недоумение, а зубы покусывали губу.

* * *

Артур тщательно побрился, обрызгался одеколоном и, глядя на себя в зеркало, на минуту задумался. Он постарался смикшировать в памяти вечер с Инной, но выкинуть ее из головы не удалось. Как будто он снова очутился на дискотеке, в сверкающем зале перед ней, отчетливо услышал ее голос, и рука коснулась пальчиков девушки. Потом ее вопрос, загадка, этот Олег и ее взгляд, через плечо, кокетливый, гордый, когда они уходили, и тогда же до него донеслись волны ее звонкого смеха, легкие и свежие.

"Обязательно найду ее, – себе пообещал Артур и, чтобы полегчало на душе, добавил, – Сегодня же, в клубе. Ее наверняка хорошо знают. Или увижу ее подругу в билоновом платье... И... обязательно разгадаю".

Вечером он снова был в клубе, искал ее, спрашивал подряд у всех девушек про очаровательную Инну, с широкими глазами, но, увы, Инны не было, и никто не мог утвердительно сообщить о ней что-либо.

Сессия засосала. Он прогорел с первым экзаменом и уже не сумел втиснуться в привычную колею. Время поджимало. В бессонных ночах пропала груда прочитанной литературы. Беготня по аудиториям, консультации – словом, в текучке дел Артур позабыл про Инну.

Он вспомнил о ней случайно. В конце мая к нему подошла девушка и спросила: – Ты не хочешь увидеться с Инной?

Два или три образа Инн, сокурсниц, знакомых вихрем пронесли в его голове. Уточнить, какая именно, ему было неудобно, но он давно мечтал, чтобы тот чудный, зимний вечер, когда он познакомился с Инной повторился и, сучая, частенько напевал; "А мне бы в девушку хорошую влюбиться".

Он кивнул и промямлил: – Хочу.

Девушка молча вручила записку, где Артур в завитушках росчерка нашел телефон.

По дороге из университета он наменял двушек и забрался в телефонную будку.

– Извините, пожалуйста. Позовите к телефону Инну.

– Да, я слушаю вас, – ответил знакомый голос полузабытой девушки.

– Инна? Это Артур.

– Какой Артур?

– Ну, помнишь. После нового года дискотека в клубе...

– А...

– Ты не против, если мы встретимся с тобой в пять вечера у фонтана на центральной площади? В воскресенье?

Сквозь треск донесся ужимчивый голос.

– Тогда пока.

Бостан повесил трубку.

Долгожданное воскресенье. На всякий случай он забежал на рынок. Взял букетик тюльпанов и ровно в пять уже со скучающим видом прохаживался у фонтана.

«Надо ее как-то узнать, – мелькнуло в голове, но, поразмыслив, он эгоистически заключил, – раз сама назначила встречу, значит, помнит», и с легкой совестью приземлился на скамейку.

Вскоре возле фонтана продефелировала девушка в вельветовых модных бананах, батнике и пиджаке. В ее чертах он уловил что-то знакомое: широкие глаза, но его смутила короткая прическа. Но Артур все же встал и сделал шаг ей навстречу.

– Привет, – сказал он ей бодрым голосом, протягивая цветы.

– Здравствуй, скромный и молчаливый герой. Ты меня помнишь?

И тут Артур окончательно вспомнил. Это была она. Перед глазами возник сверкающий зал, Билоновое платье и зазвучала песня.

Неожиданная, полудетская улыбка осветила его лицо и трансформировалась в недоумение: – Как ты нашла?

– ...?!

Теперь настала ее очередь выразить недоумение: – Это я тебя нашла?

Артур ничего не понял и, чтобы не потерпеть очередное фиаско, предложил прогуляться по благоухающему весенним ароматом старинному городу. Приподнятое настроение. Артур болтал без умолку. Инна смеялась. В этот вечер она позволила проводить себя до дому, и между прочим, приоткрыла завесу над тайной встречи...

– Я загадочна..., – и, она не договорила, – поэтому устроила тебе экзамен.

– У тебя не голова, а целый клад, – пошутил Бостан. – Когда мы снова увидимся?

– После послезавтра.

– В шесть вечера у тебя... А квартира?

– Четвертый этаж, номер пятьдесят четыре.

И в ту последнюю минуту, когда безнадежный вариант все-таки приелся, а надежный, в чем не было сомнений, отпал, когда можно было еще остановиться на полпути и мужественно сказать "Арту-ха – это слишком! Зачем тебе дорогая оправка, потребная лишь драгоценному камню?", Бостан не изменил себе и не повернул вспять.

Через три дня он вновь с трепетом в сердце и с тревожными думами, подходил к нужному дому. В голове с диким свистом плясала несурезица.

"Если мы и созданы друг для друга, то мыслями живем врозь, потому что мы, в принципе, противоположные люди... Говорят, неудачников любят. Тьфу! Но что-то в ней несомненно есть. Загадка? Она в самом деле какая-то странная... стран..."

Из подъезда навстречу ему буквально выпорхнули две девушки. В одной Артур признал Инну.

– Привет!

Они остановились в замешательстве, но только на секунду.

– Здравствуйте. Что вы имеете мне сообщить?

Слова Инны неприятно кольнули все его существо. Он пожал плечами, а девушки рассмеялись, не удостоив взглядом, прошли мимо, также болтая и подхихикивая.

Откровенная пренебрежительность шокировала Артура. И даже предостережение Инны о ее непостоянстве, о котором он, естественно помнил, не сняло чрезмерного желания тут же,

на виду у прохожих, окликнуть ее и потребовать объяснения. Однако, подавив подмывающий вал самолюбия, он покорно пошел за ними, позабыв, что был так унижен.

Временами он обнаруживал себя то на другой улице, то в незнакомом сквере, то на аллеях парка, машинально фиксировал, зато слух разборчиво отделял пустые и глупые фразы из такого же пустого и глупого разговора: то о какой-то сестре – спутнице Инны, приревновавшей своего парня к ней, то о выгодном замужестве; то о вечных соблазнах, то о каких-то квартирах или о том, кто, что делает дома и какие передрыги сотрясают семью. А то просто, задержавшись у двухэтажного коттеджа, бурно обсуждали, как бы начинить этот особняк подороже, да на приличный вкус и лад. И это все сопровождал звонкий девичий смех старух от расчета.

Артуру казалось, что эти разговоры ведутся с единственной целью – унижить его, потому его и не замечают. Пока они бродили, он так и не обмолвился. Понятно, что картина эта ему порядком надоела. Бостан остановился, желая сказать, что ему пора, но девушки, покачивая бедрами, продолжали мерный шаг. Плюнув в душе, Артур круто развернулся.

Он торопился домой и все убыстрял шаг, словно убегал от себя, чувствуя, как вскипает внутри раздражение на весь мир, ненависть, которая в конечном счете сводилась на ненависть к Инне. Однако его угнетала и мучительно-стыдливая немота. Почему он не мог сказать ей в глаза все, что думал о ней и ее поступке. Почему?

Добравшись до дома, Бостан успокоился. Он находился в состоянии глубокой депрессии, когда абсолютно все безразлично. Без суеты открыл дверь и несколько не удивился, когда в своей комнате увидел Катю, девушку из соседнего подъезда. Она листала книгу. Тихо играл магнитофон. Артур и знал умом, и чувствовал, что Катюша – нежное, милое существо, любит его. Ее любовь никогда еще так не задевала его израненного мужского самолюбия, и поэтому было нетронутым, невинным и прозрачным, как росинка на стебле цветка.

Залюбовавшись этой девушкой как картиной Возрождения, Бостан попутно нащупал с ней общие темы разговора, и если до этого держался с ней на дружественно-шутливой ноте, когда жизнь текла величавой и могучей в своей медленности рекой, то именно в эту минуту молчаливого приветствия, он ругал себя самыми откровенными словами и мучился от угрызений совести.

Усевшись в комнате, они пили кофе. И Артуру вдруг почудилось, что только с Катей, и ни с какой другой девушкой он обретет свое счастье. "Счастье... счастье, – подсказала память, – когда женишься, узнаешь, но будет поздно".

Но та мысль, о женитьбе, уже не покидала его. Строгим аналитическим мышлением он обыграл возможные варианты своего будущего "существования или жизни" с Катей. И до того привлекательной, заманчиво-притягательной вдруг предстала перед ним жизнь гоголевских "Старосветских помещиков", что губы сами прошептали за Катю и за себя: "А что, Артур Владимирович, не поставит ли нам Андриано Челентано? – Можно и Челентано, Катерина Викторовна".

Артур сделал Кате предложение.

* * *

– Сюда, пожалуйста. Налево, – попросил Артур шофера. Дорогу он помнил отлично, гулял с Инной под фонарями этой улицы, скучал на лавочке перед домом. Никаких изменений, разве что около автобусной остановки притулился магазинчик под фирменной вывеской, да чьи-то заботливые руки обили дверь подъезда дерматином.

– Остановите.

Машину дернуло вправо. От лихого торможения Артура потянуло к лобовому стеклу. Он быстро уперся рукой в панель, и его откинуло обратно. Бостан расплатился.

Прохладный ветер трепал свободные голенища брюк, хлопал по плечу. Странная зима орудовала в уходящем году: в ноябре было зябко, сучья деревьев гнулись и, не выдерживая тяжести снеговых оков, ломались; а в декабре по незапланированному календарю заморосил

дождь, нудно и мерзко. Теперь же, вопреки прогнозам синоптиков, держалась облачная погода, но сухая. То тучи заволакивали небо, то сквозь их вязкую бронзу пробивались неживые солнечные лучи.

Артур перешел улицу. Томила неизвестность. "Как встретит Инна?"

У подъезда поблескивала лаком новенькая "Лада", рядом шевелился купающийся в самодовольстве, пожилой мужчина. Артур краем глаза засек, как тот презрительно ухмыльнулся при виде по спортивному легко одетого юноши, с коробкой конфет и скромным цветком в руках, и, гордо окинув взглядом бесценное сокровище – машину, задрал подбородок.

«С какой поспешностью и лихорадочным удовольствием променял бы ты свои четыре колеса с инфарктом на мои двадцать, но без колец. Каждому свое в свое время...» – смеялся про себя молодой человек, поднимаясь по лестнице.

Он застыл у двери. Черный зрачок звонка зло и выжидательно смотрел на него. Немного постояв и успокоив дыхание, Артур нажал на кнопку. В квартире послышались торопливые шаги. Замок щелкнул, и дверь распахнулась.

Инна застенчиво, однако без суеты, присущим девушкам движением, запахнула тонкими длинными пальцами вырез халата на груди, и по ее жесту и выразительно-спокойному взгляду Бостан понял, что девушка восприняла его визит, как само собой разумеющееся.

– Проходи, Артик, – тихо произнесла она и улыбнулась. Бостан переступил порог, преподнес гвоздику. Инна наигранно благодарственно присела, принимая цветок левой рукой, а правую протянула. Как обычно Артур взял ее ладонь, как хрупкую вещь, боясь причинить боль, и поднес у губам. Горячий поцелуй соединил их. Инна высвободила руку, захлопнула дверь и пошла в комнату, приглашая гостя.

Он выложил из сетки на холодильник конфеты; разделся и последовал за девушкой. В сиреневом мареве комнаты под искусственной елкой разорвался звуками портативный «Парус». Сидя на диване, Инна разминала сигарету. Теперь нервничала она, и Артур не знал причин этой тревоги. Он присел рядом, подпер рукой подбородок и, не мигая, долго и пристально смотрел на нее.

– ...с наступающим тебя...

– А я ждала тебя. Именно сегодня... Да, уж. Надо быть у подруги, готовить всякую всячину, а ты знаешь, я с утра вбила себе в голову, что ты обязательно будешь. И если бы ты не пришел, по-прежнему бы..., – робко улыбаясь, почти шептала она.

– Я знал, мне цыганка нагадала...

– Да? – Инна вскинула черную полоску брови. – А что еще она тебе нагадала?

– Исключительно всю правду. Или гипнотезерка или телепатка попалась. Черт его знает. У людей глобальные возможности.

Артур развил эту теорию и выразил собственный взгляд на непонятное явление, но девушка, возвращая его к проблемам земным, перебила:

– Ты надолго?

Он заглянул в глубину ее глаз. То ли она действительно с трудом сдерживала слезы, то они блеснули от внутренней страсти игры, но Бостан не отводил глаз и чувствовал, как у самого наворачивается соленая влага.

– Пока не прогонишь...

Не отводя взгляда, Артур щелкнул зажигалкой.

– Как давно я не видела тебя, – девушка прикурила, делая глубокие затяжки, задыхаясь дымом. – Почему ты не приходил?

Артур пожал плечами, что означало: "Не знаю, но мне не по себе, и я у тебя..." Она молча отвечала: "Логично"...

– Хочешь кофе? Твой любимый, по-восточному?

Инна вышла, попросив расставить стол, который в собранном виде напоминал нечто вроде тумбы под телевизор. Артур принялся за дело.

Через несколько минут на столе красовался кофейник, торт, яблоки, а кристаллы электронных часов вспыхнули цифрой двадцать ноль ноль.

Артур с чашкой кофе уселся на диван. Инна устроилась в кресле. Молча пили кофе и глядели друг на друга.

– Хорошо у тебя, забываешь обо всем, – ворвался в музыкальный фон голос Артура. И опять пауза. Обычно Артур находил темы для разговоров. Мог болтать о чем угодно. В тайнике его памяти всегда отлеживалось что-то про запас, неизвестное, но интересное собеседнику. Но сейчас он ощущал себя вне времени и пространства. И хотя обычно молчание давило на него сейчас, напротив, Артур был доволен, этой молчанкой. В нем завязался диалог: с самим собой или с Инной, но Бостан не сумел сразу разобрать этот диалог, внутренние же мысли расшифровке не поддавались. И Артур сидел, пил кофе и смотрел в глаза девушке.

– А мне тоже хорошо с тобой, потому что тоже забываешь обо всем. . .

Он не мог определенно сказать сколько времени прошло после его последней фразы, когда услышал этот голос Инны, запоздало отозвавшийся на его слова. Она улыбнулась, он ответил.

– Ты где встречаешь Новый год? – поинтересовался Артур.

– Должна у друзей, но... А ты?

– Я.., – он отхлебнул кофе, – – должен дома, но... Артур не знал, что именно «но» и, снова отхлебнув кофе, договаривать не стал.

– Можем встретиться у меня, – Инна отвела взгляд в сторону.

– Твоя мама получит инфаркт, – лениво пробурчал Артур, сомневаясь, что все получится как сказала девушка.

– Я ей объясню, потом.

Он пожал плечами. . .

...– Я, пожалуй, пойду, – Артур взглянул на часы и как-то грустно улыбнулся. – Скоро два... Два часа Нового года. Постарели еще чуть-чуть. Когда были детьми, вспомни, Инна, как радовались этому празднику. А теперь?..

Он поддерживал на ладони теплую ладонь девушки, а пальцем другой чертил непонятные ни ей, ни себе выпуклые знаки.

– Пойду, хорошо?! – в глазах Артура отпечатался тот же вопрос.

– Я не держу, – Инна улыбнулась краем губ, но ступевалась.

– Но и не гонишь. . .

Артур поцеловал руку девушки, осторожно положил ее на мягкое покрывало, что обтягивало диван. Встал, вышел в коридор и молча оделся. В дверном проеме появилась Инна: – Если будет очень трудно, если очень-очень. Приходи. Но если очень трудно.

Артур открыл дверь, вышел.

Погода как по заказу. Летел пушистый снег. Тихая ночь.

Артур поймал такси. Тройка веселых пассажиров окатила его разухабстой песней. И всю дорогу, пока ехали, они пели. Бостан вылез из машины, а веселая компания помчалась дальше.

Окна домов озарялись огнями новогодних елок. Ноги сами несли к своему подъезду. Квартира жены, где жил Бостан с момента свадьбы, находилась на четвертом этаже, на втором Артур столкнулся в шумной компании, перекуривавшей на лестничной клетке. Подвыпившие ребята ни в какую не соглашались пропустить своего грустного соседа, пока тот не выпьет с ними. Артуру всунули рюмку коньяка. Он чокнулся с кем-то, выпил. Вместо закуски ему налили фужер шампанского. Артур выпил и его. Вокруг засмеялись, радовались, а про Бостана забыли, и он проскользнул наверх.

"Какой я идиот! Добросовестно приклеил себе ярлык меланхолика", – подумал Артур и остановился возле дверей. – "Интересно, как меня встретят, надо сказать..."

Впрочем, дома веселились как ни в чем не бывало, словно забыли о существовании какого-то Бостана. Но когда Артур раздевался, из-за шторы к нему вразвалку подплыл студенческий приятель Вадим и с чуть приметной ехидной улыбкой на губах шепнул на ухо:

"Слышь, Арт, извинись перед Катей и о гостях не забудь..." Артур посмотрел на дружеское лицо своего "однокурсника, друга семьи, соседа и жениха подруги жены твоей", – как иногда определял себя Вадим, и Артур скорее сердцем, чем умом почувствовал, что именно скрывалось под этим "благородным" поступком, и вдруг безумно захотелось врезать в эту фальшивую физиономию... Артура покорило, но он и жестом не выдал своей неприязни. "Главное, чтобы никто из этих людей не догадался о моей грусти. Они должны видеть меня счастливым. Долой тоску!"

Бостан вошел в комнату и, нацепив маску удалого ухаля, познакомился с неизвестными. Потом рассказал новый анекдот, перевел его в интересную миниатюру и весьма поучительную, которую услышал в троллейбусе и закончил тостом в абстрактно грузинском варианте. Гости были в восторге. А Катя, открыто, не таясь, смотрела на одного из неизвестных – Сергея. Артур прекрасно понимал ее, но продолжал шутить и веселить гостей.

Утром он полулежал в кресле. Ласковое небо сквозь оранжевый тюль нежно прижималось и ласкало глаза. Тишина. Ужасно не хотелось объяснять что-либо Кате. В том, что она простит, Артур не сомневался, но то, что разговора все-таки не избежать, он был почти убежден. Можно было лишь оттянуть его. Тогда Бостан по-быстрому умылся, собрался и осторожно ушел.

Город поражал звенящей пустотой. Люди еще не выползли из своих нор, отдыхали после бессонной праздничной ночи. Природа решила порадовать мир: солнце ослепляло, снег под ногами превращался в слякоть, однако было тепло.

Встал вопрос – куда идти? Кинотеатры отпугивали властным безмолвием, тревожить знакомых – глупо, еще спят или только-только возвращаются усталые и сонные как эти, случайные встречные. Артур подумал о Вадиме, от чего передернуло все нутро. Нет. С ним разговаривать Бостан не смог бы, и это он понимал и выбросил из головы.

...Инна, открыв дверь на звонок, ничего не говоря, долго смотрела в упор на Бостана. Он тоже молчал.

– Еще раз с Новым годом!

Девушка, не ответив, впустила Артура. Тот взглянул на нее.

– Не раздевайся, тебе придется уходить прямо сейчас, – подчеркнуто холодным тоном, как показалось ему, ответила Инна.

– Да, я понимаю, – несурзано пробормотал первое, что пришло в голову, Артур, сраженный такой стремительной переменной. Инна прислонилась к стенке, напротив Бостана, заложив руки за спину.

– Сегодня, когда ты ушел, приехали сюда друзья, поздравлять. И один человек, ты его не знаешь, сделал мне предложение... Она говорила совершенно спокойным голосом: ни лицо, ни глаза ничего не выражали.

«Как робот...» – подумал Бостан. Хотел спросить, что же она решила? Но девушка, как бы уловив его вопрос и предупреждая его, продолжила: – Я сказала да...

Артур, скорее подчиняясь спокойствию Инны, заметил, что ему безразлично это известие, а глазами яростно сверлил вешалку, где красовалась куртка Олега.

Ком, который грыз глотку все утро и полдня, провалился куда-то и бесследно исчез. Бостан потянулся к ручке дверного замка: – А как же твои слова: «Не хочу осчастливить недостойного человека..?» И, уже затворяя за собой дверь, услышал ответ Инны.

– Я сама недостойна... И только сбиваю тебя и себя...

Артур опять бесцельно слонялся по пустым улочкам города и думал...

«Слушай, скорпион заспиртованный, что же произошло? Ничего особенного? Ха! А для меня непосредственно это чуть не обернулось трагедией. Печально и радостно однако сознавать: привело к душевному кризису. Всего год назад я встретил девушку. Она заинтересовала меня и, может быть, заинтересовала с такой фантастической силой, что я почувствовал себя, как прохожий, нашедший на пустынной дороге подброшенный кошелек... Она была общительной, удивительно обаятельной, милой и загадочной девушкой. И еще масса всевозможных качеств, которые я приписал ей в силу богатого воображения. Зачем кривить душой? К несчастью, ее у меня с избытком, море. Человек – загадка. Все люди – загадки. Чужая душа, говорят, потемки. Однако почему? Да ведь, она сама дала этому повод. Она же предупредила, что принесет мне массу хлопот, потому что у нее тяжелый характер, она непостоянна, в чем я вскоре убедился. Она могла, мило улыбаясь, слушать меня, делать вид, что я ей не наскучил, а потом же выражение ее лица чрезвычайно быстро менялось, я вызывал у ней апатию. Кокетство?»

Чем же она еще привлекала? Ах, да. Нетипичным. Говорят, что женщина любит ушами. Не знаю, какой женщине не может не понравиться комплимент, мило посланный в ее адрес, но и тут она возразила, что так говорят тысячи ребят. Ну что ж?! Она бросила главный вызов – вы все такие! Удар в уязвимое место, по самолюбию. А я не такой, как все. И я буду, конечно, веселить ее, изобретать что-то новое, дарить радость, приносить счастье, а она будет играть со мной, также как играла до этого с десятком таких же людей, отличающихся лишь по количеству глупостей, совершаемых ими, и умению преподнести эти глупости. Но когда на минуту сбрасывал эту напускную мишуру, словно прогонял наплавной дурман и смотрел на нее, долго и не мигая, пытаюсь в пучине дьявольски притягательных глаз отыскать что-то жуткое, загадочное, скрытое от внешнего мира, то бедное мое состояние полнейшей неудовлетворенности собой, заставило напряженно задуматься. Тысячи черных мыслей подспудно бродили в моей голове. Я думал, думал напряженно, как сейчас, пытаюсь разобраться в себе, был хмур, не разговорчив, раздражителен, – словом, ей удалось "влюбить меня к себе: "Да, но в чем вопрос, а любовь ли это? Для меня до сегодняшнего дня казалось, что любовь существует, вопреки тому, что она возразила совершенно обратное. А для нее? Стоп! Скорпион. Где же ответ? Разумеется, я не отвергаю любовь, как на словах отвергала она тогда, значит, думала она, что я буду стремиться к любви. Вопрос в другом, понимает ли она любовь, хотя отрицает, найдет ли ее или уже нашла?»

Я столкнулся воочию с неразрешимыми проблемами, тугим узлом завязавшимися на моей шее. Я сделал объектом наблюдения собственную мысль, запутался, и попросту говоря не смог раскрыть тот подброшенный пустой кошелек. А ведь я думал, что неудачник и не только в любви, а во всем. И милая моя Катя представлялась мне чуть ли не предметом всех бед и страданий. За что? И я, молодой человек, как старый пердун стал упрекать мир за его сложность, я вбил в голову, что устал от окружавшей суеты, измочалился. Увы, время мало учит человека. Каждый осознает и прокладывает свой путь через тернии, но иногда методом проб и ошибок. А ведь все так просто. Так устроен человек, так создала его природа. И все мы в конечном итоге состоим из воды, обыкновенной воды. Да, порой в текучке дел мы забываем о самом простом в жизни, – что все просто, надо только докопаться до истины правильным путем. Спрятаться в бочку Диогена, чтобы поразмыслить. Но в том-то и сложность, что в современной жизни попросту не залезешь в бочку, ее нет. Стоп! Но причем же здесь Инна? Она хотела заинтересовать меня, чтобы я мучился, страдал, но каким путем! Она загадка?! Загадка лишь в том, что одни могут хорошо скрывать свои цели за пустой мишурой слов и поступков, а другие не могут или не хотят, и от того кажутся неинтересными, незагадочными. Инна знает, что хочет и что может. Хотя они все говорят, что загадочны и, что у них сотни поклонников и что им все надоело, они не верят в любовь. Это факт. И лишь малая доля из них знает на самом деле, что хочет, а что они могут – это вообще в глубоких потемках. Но она однако сумела это хорошо

прикрыть. Слова о том, что она загадка – мишура, чепуха, слова. Но со своей целью – влюбить меня в себя она в соответствии строила воздушные замки и специально усложняла мир для меня. Фу, ты! Скорпион заспиртованный! Как прав Андре Моруа, когда сказал, что существо самое ничтожное и пустое может внушить к себе любовь, стоит ему создать вокруг себя ореол таинственного непостоянства...»

Нога заскользила, а Артур очнулся. Находился он напротив кинотеатра «Октябрь». Впереди, по гололеду тротуара, шла женщина с ребенком. Присмотревшись в их наряд, Артур понял, что это цыганка с маленьким цыганенком. Скоропостижно свибрировала нелепая мысль. Артур догнал женщину и, поравнявшись с ней, без лишних вступлений отрубил вопрос:

– Скажите! Что будет?! Погадайте мне.

Сверкнув белками глаз, она зло посмотрела на Бостана, заставив съежиться. Артур торопливо достал из кармана рублевую бумажку.

– С мертвецов денег не беру! – огорошила своим ответом цыганка, продолжая мерно идти, не обращая больше на Артура внимания. Бостан не отставал: окончательный ответ, напротив, разжег его.

– Какой же я мертвец?! – выпалил он.

Женщина опять невозмутимо посмотрела на него и прошипела: – У тебя на челе смерти отпечаток лежит. Я вижу... не доживешь ты до рождества Христова... – и отвернулась резким движением, прибавила шаг, ведя за собой мальчишку, показывая этим, что разговор окончен.

– О! – Артур почему-то рассмеялся, значит, у меня в запасе есть еще целых пять дней! – и, свернув за угол, пошел другой улицей, повторяя то шепотом, то про себя два слова. "Какая чушь!"

1987 г.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Повесть

*Метеорит живет мгновение,
Сгорая в дымной синеве
Его отвесное паденье
Сквозь смерть направлено к земле
И я готов, летя сквозь годы
Метеоритом в синей мгле,
Сгореть, сжигая все невзгоды,
Во имя жизни на земле.*

Александр Стовба

Очнувшись от неожиданного, приглушенного равномерным гулом моторов требовательного голоса маленькой стюардессы, желавшей, чтобы пассажир пристегнул ремень, слегка размежив веки, Манько сквозь опущенные ресницы увидел ее, симпатичную, подчеркнута строгую девушку, склонившуюся над ним, и, улыгнувшись смущенно, пальцами напряженной ладони провел по глазам, окончательно снимая пелену сна, сказал вежливо:

– Все в норме.

И уже потом, зажав тело в страховой пояс, потирая, словно огнем пылающий затылок, оглядывая слабо освещенный, только что пробудившийся салон, шумно оживающий перед посадкой, он понял, что все-таки возвращается, – и что-то болезненное прокатилось в груди.

За холодным, черным иллюминатором медленно плыла белая луна по темному фону февральского неба, прерывисто озаряемому красными вспышками бортовых огней, а под крылом,

где-то под плотным слоем прижавшихся к земле облаков, неумолимо приближался притаившийся на холмах древний Львов. Через минуту-другую колеса гулко ударятся о бетонку, тряхнет салон, и неукротимая сила инерции неудержимо потянет его вперед, а потом, при торможении, когда в уши стремительно ворвется резкий рев сбавляющих обороты двигателей, другая сила отбросит его обратно, на мягкую, приведенную в вертикальное положение спинку кресла, и когда гул наконец стихнет, наступит пугающая тишина.

Манько возвращался. Не просто в город, где прошло детство и началась юность, в город с памятником Нептуну 1256 года на безлюдной ночной площади Рынок, с угрюмыми атлантами соседнего дома, поддерживающими карниз на консолях, с глухими, узкими, выложенными булыжником улицам, окутанными сейчас зимней тишиной, с чернеющими громадами величественных куполов костелов, и с улыбающимися под балконами львами. Истосковавшись, он возвращался в родной дом, к матери ("Они, конечно, будут рады"), к родным друзьям, к старым привычкам и Манько, не скрывая переполняющей радости, уже представлял их счастливые лица.

"Когда ж это было? Лет десять назад? Или раньше, в классе пятом, когда с родителями переехал из Куйбышева во Львов? Быть может. И у меня тогда осталось чувство необъятного, и неудобно казалась бугристая дорога, и львы вроде скалились, но мне совсем нестрашно было поздно вечером бродить по запутанным безлюдным улочкам, и львы потом, как сильные покорители, показались мне добрыми".

И он вспомнил, что месяц спустя поразился всему в городе: планировке, которая была даже очень рациональной, потому как изучив центр, переходы, в считанные минуты можно попасть в любую желаемую точку, и узеньким рельсам, по которым с грохотом разбитых колываг ползли экстравагантные для туристов старые трамваи, и гармоничной сочетаемости строгих, словно отточенных форм сооружений и честности линий с вольным и независимым их расположением. И еще поразился он буйству зелени, грандиозности Стрийского парка, всегда свежего и чистого. И когда, взобравшись на труднодоступный пяточок – никогда не пустующую площадку обозрения, увенчанную собой горю с поэтическим названием «Высокий замок», и когда его взору внизу открылся весь Львов, потонувший в дымке, кое-где еще золоченый косыми лучами заходящего солнца, он улыбнулся этим шпилям, островерхим черепичным крышам, кварталам, зажатым двумя линиями гор, как теплыми ладонями человека, и крикнул в душе: «Город! Я люблю тебя!» И Львов приветливо ответил ему звоном часов городской ратуши.

И вдруг Манько ощутил странный приступ тягостного удушья, и несмотря на прохладную струю воздуха, вырвавшуюся из открытого вентиля возле лампочки индивидуального пользования, несмотря на расстегнутый ворот рубашки, его обдало раскаленной волной нестерпимого зноя, и вмиг почудилось, что так же, как два года назад, так же нестерпимо хочется пить, и снова пошатываясь, идет он в невыгоревшей панаме, в разодранном маскхалате, в горных ботинках с ребристой подошвой в колыхающемся строю мимо длинных щитовых казарм, окрашенных в желтый цвет, и на тонких веточках редких деревьев такие же желтые свивают свернувшиеся от жары листья, и повсюду, куда ни кинь взгляд расстилается невзрачный желтый пейзаж.

Это был первый, особенно запомнившийся день в школе сержантского состава, затерявшийся в бесконечных песках Средней Азии. Совсем недавно Манько казались эти мрачные, несколько сдержанные, немногословные ребята почти дядями, и втайне он мечтал встать вровень с ними, но, понимая, что трудности непременно будут подстерегать его, потому как это служба, притом в необычных условиях, все-таки надеялся, что вопреки рассказам бывалых о службе там, об операциях с душманами, ему будет легче. И когда потом под неусыпным наблюдением офицера или сержанта-инструктора полз по-пластунски вместе с другими новобранцами, расставляя мины, или, копаясь в устройстве учебных (китайского, итальянского, американского производства), систем, изучал их, а затем снова минировал, разминировал, опять же

ползком, на пузе, от мины к мине, и, пропотев от жары и бега, снова с трудом брал в непослушные напряженные руки миноискатель, чтобы ползти, ставить, маскировать, и снимать эти вроде безобидные, но коварные "игрушки", то понял, что постичь обманчиво простую науку – науку виртуоза сапера, человека, у которого нет права на ошибку, – непомерно сложно.

"Когда ж это было?" – вновь подумал Манько, пугаясь, – Как будто два дня назад". Подготовка в "учебке" насыщенная так, что абсолютно не оставалось времени для раздумий и анализа прожитых дней, и последующий провал в памяти, где часы казались днями, свет тенью, а дни неделями, сливавшимися в общую вереницу шести месяцев, и затем – запечатленное в памяти апрельское утро, когда АН-24 взял курс на Кабул, где дальше должна была проходить его служба, – все это вместилося в сознании лишь в два дня, Манько мыслями неизменно возвращался вспять к дню последнему. Но тогда он еще должен был дожить до него, не сломаться, переплавиться. И сейчас, вспоминая то апрельское утро, когда сидя в глубоком кресле в уютно подогнанном обмундировании младшего сержанта, пристально наблюдал, как постепенно таяли, исчезали за синим искрящимся кругом иллюминатора полосатые хребты, окутанные туманом, отгородившие его от своей земли за границей, еще не зная, что долго-долго не увидит ее, именно сейчас, именно в эту минуту, спустя полтора года нечто более сильное, чем трепетное волнение в апреле. И подумалось Манько, что Родина, родник, род (в этих словах, где везде корень "род", и в нем собрана вся мощь этих слов) вбирает в себя гораздо большее, беспредельно широкое, святое и чистое, чем место где родился. Какая разница, что будет за корень? От этого не изменится гордое, впитанное в кровь и плоть человека притяжение к Своей Земле, на которой он вырос и не только понял, но и каждой клеточкой тела, каждым кончиком нерва ощутил, что без этой частицы – Родины не сможет существовать, просто существовать, не то чтобы жить.

Как можно верить, – думал между тем Манько, – в бровату эмигрантов, будто сладко им на чужбине?! Пусть у них все есть: достаток, коттедж, лимузин, пусть спят они без кошмаров, не просыпаясь по ночам, сытно, с аппетитом едят, но снится им, – и в этом он не сомневался, – то место, где они пусть даже голодали и не могли заснуть от холода. У них когда-то была Родина. Не важно – Россия, Бразилия, Гренландия или Ангола. Верить космополиту?! Да он не просто кочует, он лежит, бежит в ужасе от того, что навсегда потерял и никогда не сможет найти. А что такое моя Родина, та, которая дала мне все?

Моя Родина... – это, как живительный глоток влаги для умирающего в пустыне. Как нам не хватало ее там! Мы задыхались не от жгучего воздуха песков, нет, а от того, что оказались вдалеке от Родины. И в то же время мы не задохнулись, потому что от нас она потребовала сделать так, чтобы другой народ тоже обрел свою родину. Потому мы и делали все возможное и даже невозможное. Но, черт, трясет, всего трясет, как в Ташкенте, где сразу было столько русской речи, целое море. Я мог слушать ее сколько угодно, с трепетом, в устах совершенно незнакомых людей, наслаждаться, как поражающей гармонией музыкой, песней. Там тоже говорили на русском, но только мы и только слова приказа, опасности, тревоги или смерти. Родной дом, отец, мама, братишка, – это тоже часть от меня, начало всей Великой любви. Сейчас мама скорее всего расплчется. Сколько она пережила за это время? Что я? Солдат Отчизны, а она мать. Больше, больше, миллион раз больше! Может, ростом стала ты чуть ниже, может, прибавились морщинки на твоём добром лице, и лишняя прядь седых волос. Может быть. Выдержу ли я? Отец – ты суров даже в своей отцовской любви. Я – это ты, как ты – это я. Меня ты крепко обнимаешь... Братишка. Вероятно, он увидит меня завтра, будет спать, а утром, конечно, обидится за то, что не разбудили, но все равно повиснет на шее, обхватив руками и ногами, как обезьянка. Да... Выдержу ли я?»

С неимоверным протяжным гулом самолет бросается на взлетно-посадочную полосу, обозначенную по бокам в ночи яркими фонарями – в глазах Манько они разделяются на длинные желтые зигзаги, – скрипит, подрагивает, а оживленные пассажиры всматриваются в тем-

ноту. И после того, как стюардесса объявила, что самолет произвел посадку, а за бортом – минус четыре, после того, как томительно долго не подавали трап, а потом подали наконец и открыли дверь – оттуда сразу потянуло прохладой, сыростью, и тот же голос пригласил на выход, и все, толкаясь, застегиваясь, надвигая шапки, поспешно потянулись туда, Манько, наспех накинув шинель, словно очнувшись, также засуетился, пробираясь к трапу, еще пытаясь осознать, еще не веря окончательно в то, что вернулся. Стоило на секунду задуматься, как вновь начинало казаться, что в шероховатом бронежилете он, тяжело ступая во главе колонны, осторожно поднимается по горной тропе круто вверх, и лишь марево зноя колышется над дикими скалами, да с сухим шелестом осыпаются выбитые подошвой мелкие камни. И чувствуя, что сейчас не выдержит, и то, что пережито и передумано напролет дни и ночи, не сдержавшись хлынет из него, боясь по-детски расплакаться, все повторяя: "Неужели?" и дрожащей рукой скользя по перилам, всех опережая, Манько быстро спустился вслед за пилотами, но прежде чем ступить на стылый бетон, по которому извивалась поземка, нервно запахнув развернутые ветром полы шинели, задержавшись на последней ступеньке трапа, он огляделся внимательно и несколько раз подряд, глубоко, вдохнул терпкий, пахнувший керосином и еще чем-то до боли знакомым морозный воздух.

В ушах еще звенело от непривычного полета, когда Маш получил "дипломат" и, отвернувшись от противного ветра, завывающего в макушках деревьев, поеживаясь, торопливо вышел, слегка прихрамывая, из крытой металлической клетки багажного отделения, на ходу натягивая, связанные мамой варежки. Остановился, пытаясь разом окинуть взглядом площадь, и снова, все убыстряя шаг, двинулся по направлению к стоянке такси.

Дорога была пустынна, машины с зеленым глазком не появлялись, и Манько, прислонившись к черному корявому стволу каштана, вытащив из кармана помятую пачку папирос «Курортных», решил подождать, покурить и успокоиться. Затылок по-прежнему нестерпимо жгло. Туманным взглядом он неотрывно смотрел на пленительно горящие белые фонари, на широкие окна полупустого здания аэропорта, на одиноко стоящие с незажженными фарами едва припорошенные снегом автомобили, на тир, куда частенько забегал когда-то пострелять, с сожалением отмечая, что здесь ничего изменилось за время его отсутствия, как будто никуда он не уезжал. Горячий дымок недокуренной сигареты струился, жег ладонь, а он, задумавшись, утомленно сопровождая глазами извивающуюся поземку, хмурился, но подспудно, подавляя неудовлетворение, рождалось другое чувство, которое он не смог бы точно объяснить, но которое испытал однажды, стоя на смотровой площадке «Высокого замка».

Ветер бился, свистел, просачиваясь сквозь щели одежды, просторные рукава, подбираясь к телу, леденили его, однако Манько не ощущал холода и с непроходящей болью думал о том, что ему, пожалуй, повезло, что тот осколок свободно мог лишить жизни, но организм выдюжил, тогда как там, за изломанной грядой горных вершин, где опаленный смертельным зноем и огнем оружия человеческого колышется сухой ковыль, и длинные тени ложатся в ущельях, сложили головы многие товарищи, и, вспоминая, как не мог поначалу привыкнуть к этим чудовищно несправедливым смертям молодых ребят, видя, как из искореженного БМП с оплавленными по краям дырами, прожженными из гранатомета кумулятивной струей, вынимали обгоревшие тела экипажей, как всякий раз при этом, кусая губы, в горле сдерживал стоны и в каком-то беспамятстве повторял иступленно: «Мы отомстим за вас» – и мучился от того, что выполнял сугубо мирное дело – спасал другие жизни, сейчас Манько снова и снова спрашивал себя, зачем вернулся.

«Что это со мной? Я словно не рад, что выжил и вернулся? Неужели это чувство надолго? Неужели я все время буду мучиться от того, что обязан перед ними, невернувшимися? Нет, действительно, возвращаются не куда-то, а, скорее, для чего-то. Тогда для чего я вернулся? Для чего?»

«Жигуленок», с жужжанием вывернувшийся из темноты на секунду, ослепил его светом фар, заставив машинально прикрыть глаза варежкой, притормозил рядом. За откинутой дверкой показалась голова хозяина.

- Слышь, солдат! Тебе куда?
- На Майоровку...
- Садись, подвезу.
- Благодарю.

Едва лишь Манько сел в теплый салон и пальцем утопил флажок дверной защелки, а машина тронулась, как неумное нервное чувство близости позабытого дома с новой силой нахлынуло на него, и в зеркале, нисколько не удивляясь, Манько увидел, как влажно заблестели собственные глаза.

Все было ошеломительно – и внушительная медицинская комиссия, еще утром подписавшая бесповоротный приговор о негодности, и преждевременная в связи с дополнительным поступлением больных и за отсутствием мест выписка из санатория, и чересчур скорое освобождение из плена душных белых палат, и головокружительное длительное пребывание на свежем воздухе, и удобный рейс, позволивший не потерять ни минуты, и удачно купленный за пять минут до конца регистрации кем-то сданный билет, и полуторачасовой полет – все это было настолько ошеломительно, возбуждающе, так теснилось в груди, что безумное прошлое возникало в сознании Манько в виде беспрерывных картин. Эти картины появлялись навязчиво, одна за другой, в не всегда понятной форме, и Манько, отыскивая в них что-то знакомое, угадывая его, по запоминавшимся деталям, пытался осмыслить все то, что произошло с ним. Он понимал, что вернуться оттуда неизменившимся, и с невыразимо сладким, захватывающим дыханием чувством, с этим безотчетным чувством радости, прислушиваясь к певучему шуршанию колес под днищем скользящих по мокрому блестящему асфальту он вдруг подумал: "Какое это все-таки огромное счастье – почувствовать себя частью родного города!" И с жадным, безоглядным, почти детским удивлением вглядываясь в проносимые за ветровым стеклом предрассветные улицы Львова, Манько видел все обновленное, чистое, белое и дрожал от волнения. Еще непривычно реза слух в этом уснувшем тихом квартале звук удаляющейся машины, еще непривычно было видеть, как на перекрестке скромно мигает желтый глаз светофора, отражаясь в глянцевых витринах и оконных стеклах, когда Манько, варежкой утирая на лбу и шее обильный пот, притаптывая рыхлый снежок, подошел с затаенным дыханием к своему дому.

"Куда так рвется сердце? Надо успокоиться, прежде чем войти. Подъезд. Родной. Какой неопишуемый восторг. Хочется погладить эти стены. Двери, двери, знакомые, обшарпанные. Вот и моя. Боюсь звонить, хоть садись на лестницу и утра дожидайся. Но мама скорее всего не спит, она ждет. Она непременно слышит мои шаги, точно слышит. Она чувствует мое приближение.

За дверью прошаркали домашние тапочки. «Это мама. Это шаги мамы. Я же чувствовал, что она не спит!» – и срывающимся от волнения, хриплым голосом он закричал:

- Мама!
- Сыночек! Генушка!

Дверь распахнулась, и щемящий звук ее голоса, и знакомый запах квартиры, который ни с чем не спутать, запах из детства, врезающийся в память, так подействовал на растерянного Манько, что на какое-то мгновение, оцепенев, он застыл перед матерью, словно не веря в волшебный сон. А мать смотрела на сына широко раскрытыми глазами, не в силах вымолвить ни слова, и на краткий миг, не совладав с собой, чувствуя, как предательски щиплет глаза, Манько дал волю скатиться по щекам двум слезинкам.

Генушка. Высокий. Похудел. Все те же кудрявые волосы, только на висках седина чуть съела юношеский блеск. Нос, длинный, чуть курносый, заострился, стал тоньше. Веснушки заметны; голубые глаза, они прежние – добрые, веселые; страшный синевой тонкий шрам от ямки на правой щеке к уху; родинка на шее, легко взятая нежным пушком; красные от мороза, слегка оттопыренные и потому несуразные уши.

Манько выпустил из рук чемодан, бросился к матери, прижал крепко к груди, продолжительно поцеловал, и по щеке Геннадия снова потекли слезы – мамины слезы.

– Генушка! Наконец-то... А я все уснуть не могу... Генушка! Наконец-то...

– Мама, ну что ты плачешь? Все ведь в порядке. Я... Перестань, мама...

– Я от счастья, сыночек. От счастья... Ну что же мы здесь? А? Проходи, раздевайся. Отец!

Одной рукой обнимая маму – она еще не выпускает сына из своих объятий – другой Манько до боли пожал шершавую без указательного пальца ладонь отца. «Братишка. Он проснулся, он тоже здесь, бесенок, подобрался сбоку».

– Ну что мы здесь? Проходи, проходи, сыночек, – мама говорит не переставая. – Дверь закрывайте. Давайте в комнату. Сережка!

Скатерть на стол. Давай быстрее! Ты голодный, сыночек? Чего спрашиваю? Конечно, голодный. Нет, сначала в ванну. С дороги, устал. Или спать хочешь? Генушка...

– Мама, мама, – Манько улыбается, тело дрожит, – сначала душ, мама, а потом мы будем говорить долго-долго, пока не уснем. Наговоримся за все эти месяцы.

В своей комнате Манько по-солдатски быстро разделся и, вспомнив, что на теле остались следы ранений, испуганно накинул на голое тело халат, в голове мелькнуло: "Лучше, чтобы мама не видела пока, чтобы ничто не омрачало радость встречи".

Манько скрылся в ванной, задвинув щеколду, включил воду, и тотчас облегченно вздохнул, скинул халат – на обнаженной спине отчетливо выделялись страшные, как и шрам, своей синевой скрученные бугорки кожи. Пять бугорков, где засели тогда пять осколков. "Но это ерунда, – подумал Манько и повернулся спиной к зеркалу, – а вот здесь. – Он приложил ладонь к шее и медленно повел к затылку: – Здесь незаметно, но в этом-то вся беда. Этот осколок не вытащили. Значит..."

Теплая, полная воды ванна влекла, Манько погрузился в нее, испытывая наслаждение, блаженно вытянул ноги, разлегся, но что-то ненормальное будоражило нервы. Из крана продолжала бежать, булькая, струйка. "Ага, вода! Как? Вода свободно уходит?" – он машинально закрутил кран.

Теперь он знал, как пахнет обыкновенная вода, невесомая, ласковая, и когда страдал от жажды, с невероятным усилием ворочая разбухшим языком, то всякий раз мысленно дотрагивался рукой до этой струйки, потом разжимал зубы, приближал разгоряченное лицо, подставляя сначала растрескавшиеся горящие губы, потом пересохший рот, и с жадностью, захлебываясь, давясь, до дурноты, до ломоты в зубах, глотал и глотал ее, пока не подкатывала тошнота.

"Вроде бы за четыре месяца, что был там, не произошло ничего особенного. Но ведь что-то было? Не зря же в госпитале не мог спать раздетым, не мог уснуть, пока не надевал пижаму и ложился прямо в ней, ведь не даром от малейшего шороха, от шума за окном вскакивал по ночам и потом лежал до утра с открытыми глазами не в силах уснуть, ведь не просто так все эти ночные крики и бред таких же, как я", – и, изнемогая от неразрешенных до конца вопросов, Манько морщил лоб, безуспешно пытаясь что-то вспомнить, но в памяти все действительно сплыло и слилось в единообразный, нескончаемый день – в последний день там...

Было шесть часов, августовское утро, вокруг топорщились камни, в звенящей, зловещей тишине незримо подкрадывалась сгущенная духота, когда в глухом, без каких-либо признаков жизни ущелье, заминированном душманами, продолжалась длящаяся почти трое суток операция. Растянувшись по тропе уступом влево взвод саперов медленно продвигался вперед, а позади, так чтобы все были в поле зрения, шел Манько. Группа прикрытия, стерегущая на

случай внезапных выстрелов каменистые складки гор, замыкала эту живую змейку, и окружающий их нереальный, как в сказке про злых колдунов или на безжизненной далекой планете пейзаж был наполнен стуком металла, громкими голосами.

Палило нещадно, мучительно давило жестокими лучами солнце, стиснув зубы, расчетливо-спокойно, сосредоточенно работали запыленные, с грязноватыми потеками пота на лицах, со слипшимися волосами саперы. Тип мин определили сразу – противопехотные, итальянского производства, поставленные на неизвлекаемость со зверской задумкой: взрываются через несколько секунд после воздействия, чтобы увеличить потери и вызвать панику, – и Манько, хватая ртом жгучий воздух, стараясь не думать о прохладных Карпатах в Союзе, шел в каком-то тягостном предчувствии этого взрыва.

Внешне он был спокоен. Он давно научился быть спокойным, чтобы вовремя принять нужное решение (страх леденил тело лишь несколько дней четыре месяца назад), но на душе оставалась тяжесть.

«Что заставляет меня и ребят идти на грани смерти? Сознание долга перед сзади идущим? Или просто – желание выполнить рискованную работенку? Или совокупность всех «надо» и «обязан»? Манько знал, что каждый, кто выполнял присягу, был здесь, выполнял ее на совесть и, ежедневно встречаясь со смертью, злодеяниями душманов, неудобствами и лишениями, не терял человеческого в себе, не вбирал звериного. Он и сам почувствовал, как накипь дури, которую привез с собой с гражданки, здесь моментально выбило, а взамен ее впитался какой-то порыв, одержимость, новь, и на глазах в душе родилось то, что было когда-то у молодежи двадцатых.

"Какой неприятный скрежет. Камни что ли? Хуже, чем пенс пласт по стеклу. Когда же конец этой тропе?... потом будут новые потом... Взводный подхватил желтуху... все на мне. Проклятая жара. Когда же отключиться этот солнечный рефлектор? Скрежет выводит!"

...Манько вздрогнул, рука вылетела из воды, и он с силой, так, что брызги ударили в лицо, хлопнул по ее поверхности, по телу пробежал холодок. И вдруг Манько явственно представил, как раздался невыносимый, бесконечно продолжительный треск за спиной, как все оглянулись и с ужасом посмотрели на него, а он только почувствовал, как из-под ног убегает земля, переворачивается, как пронеслись склоны гор, и перед глазами вошло безупречно голубое высокое небо, этот раскаленный до бела шар, который то приближался, то удалялся, то двоился, то вертелся, и затем наступила сплошная темнота. "Когда же очнулся? Черт его знает. Но не помню больше афганской земли, не помню месяца в Ташкентском госпитале, смутно все, русская речь только запомнилась... в Тбилиси уже... За моим окном росло огромное кизилевое дерево. Там же начал ходить, и каждое движение – как острое ножа в голову... Курорт Саки. Бархатный сезон. Море. Море воды. Песчаные пляжи. Только мы там были не отдыхающими. Сколько было там наших? Я ходил уже с тростью, а ребята лежали без ног... Мне опять повезло. Прекрасные крымские пейзажи. Но почему они отпечатались серыми красками? Разве в ущелье больше цветов?"

– Стол готов, Генушка! Сыночек! Ты скоро? – голос мамы за дверью вернул в настоящее.

– Да-да, я сейчас...

С момента приезда минула неделя. Теперь Манько иногда вспоминал, что радовался этому возвращению слишком долго и оттого, что родные лица, привычная домашняя обстановка, двор ежечасно окружали его и оттого, что вновь бродил он по заснеженным светлым улицам любимого города, которые казались еще прекраснее, оттого, что жестокие бои в горах, засады, обезвреженные мины, очищенные километры дорог, песков нестерпимый жар, жажда, голод – все это, к счастью, закончилось, на душе было очень тепло и покойно. Новый период в юности, когда исполнилось только двадцать с хвостиком лет, обещал много хорошего, и Манько, необычно возбужденный, находился в странном лихорадочном ожидании какого-то

случая в судьбе, и жил, подгоняя время, чувствуя, как растет, ширится в нем заряд любви и доброты ко всем людям. Но чем дольше длились сладостные минуты радости, тем чаще преследовали его необъяснимые, болезненные приступы тоски. Чего-то не хватало, душа настойчиво просила, требовала, и поздними вечерами, сидя в темной кухне близ зажженной газовой плиты с неприкуренной сигаретой в пальцах, он неотрывно смотрел на потухающий в запотевшем окне свет домов через дорогу напротив, опять-таки словно ожидая, сам не зная чего.

Временами он думал над тем, что прежде жил бессмысленно, без забот и цели, помнится, увлекался. "Не о чем вспомнить, разве что о мелочах. Странно, как глупо и попусту человек расходует отпущенный ему срок? Я вроде любил, но если перед самим собой быть честным, то ничего не было, как и того адреса девушки, о котором я всякий раз говорил ребятам перед боем. Но ведь есть нескончаемое время, существую я в нем, несмотря ни на что, пройдя сквозь огонь и смерть. Каждому поколению, видимо, пришлось выдержать свое», – думал он, испытывая нарастающее угнетение, и, вспомнив рассказ таксиста-десантника о том, как в Чехословакии вспыхнул революционный мятеж, отчетливо представив закрытые окна домов в Братиславе и в темных, спящих переулках хлесткие выстрелы, до содрогания представив привязанного к дверям почты и зверски разорванного молодого солдата, он вдруг горько отметил, что слушал тогда таксиста с явно притупленным ощущением, также, как потом и двоюродную сестру, у которой в схватке с китайскими лазутчиками на границе погиб жених. И поймав себя на мысли, что в событиях на Даманском и в стреляющей Братиславе враг казался вдалеке, расплывчиво, пока сам не столкнулся лицом к лицу в Афганистане, Манько озадачился: что тогда мешало воспринять близко к сердцу боль таксиста, трагедию сестры? И отвечая, он все пытался избавиться, высвободить душу от налегших на нее тягостных вопросов, совсем не предполагая, что через неделю ровно тихо вкрадется, вселится в него неизлечимая тоска. Та тоска по ребятам, делившим между собой пополам сухарь из сухпая и два глотка воды из теплой пустой фляги, по трудном опасном деле на крутых горных серпантинах, где к гибели ведет малейшая неосторожность, та тоска, которая все-таки подступит незаметно, охватит полностью и, как непроходящая ноющая боль в затылке, будет медленно изнурять, истреблять его по частям, и не верилось, до кривой улыбки на губах не верилось, что именно она поможет найти верный ответ, все ответы.

Целую неделю Манько неутомимо разыскивал одноклассники», он жаждал встреч, жаждал общения, но ребята либо еще служили, либо в суматохе обычной студенческой сессии тратить на разговоры лишней минуты не желали, девчонки же, большей частью успели выйти замуж, сменить адреса, фамилии, а тех, что не поддались искушению семейной жизни дома застать было трудно, и раздраженный, злой, часами скитаясь по улицам в одиночестве, Манько уже согласился с тем, что их ничто не связывает. Но изредка встречая кого-нибудь в автобусе или на улице, он не радовался, потому что замечал частенько в глазах скользкое холодное выражение. Он обзвонил абсолютно всех, кого знал, пробуя договориться о встрече, но мало кто согласился, на том конце провода в лучшем случае сочувственно поддакивали, возможно, что кивали головами, но потом, отыскивая самые разные, порою невероятные предлоги, чтоб их только оставили в покое, решительно отказывались, – и стоило лишь вообразить эти страдания в поисках общения, как Манько чувствовал почти безвыходную тоску. Поэтому, когда отец, как бы невзначай заводил речь о ребятах, Манько предпочитал отмалчиваться или же иронично восклицал, что не намерен врываться со своими военными взглядами в розовые юношеские мирки, потом был угрюм и замкнут.

"До чего страшно ощущение этого одиночества – его пустоты, его застывшего времени, его безвыходности, – в отчаянии думал Манько. – Где же те люди, с которыми смогу поделиться всем, чем живу?" И все же отлично понимая, что никто сию минуту не явится к нему, чтобы поговорить, поспорить, просто выслушать, Манько не мирился.

Однажды зябким хмурым вечером, когда колко хлестал по лицу снег, кутаясь в куртку, стоял расстроенный Манько, дрожа и сутулясь, на троллейбусной остановке, курил, нервно покусывая фильтр сигареты, оглядывая ожидающих транспорта людей, которые также как он, сжимались, отворачивались от пронизывающего сырого ветра, как вдруг ему показалось, что над шапками, платками, шляпами и толпе пупом возвысился и пропал мужской черный зонт («Зон среди зимы?!»), но снова раскрылся и поплыл, покачиваясь, прыгая, приближаясь.

Манько видел, как ошарашенно, недоуменно, но и не без интереса набщлюдали за ним люди, впрочем, на лице обладателя "трех слонов» следов смущения не обнаруживалось, напротив, была некая снисходительность, жалость к окружающим, надменность. И Манько разозлившись внезапно, как будто получил вызов, схватив юношу, когда тот поравнялся с ним, за рукав, остановил.

– Чего тебе дед? – огрызнулся тот.

– «Ну и хам!» – возмущенно подумал Манько, а вслух произнес: – Хотел узнать, зачем тебе зонт?

– Знаешь, – парень лет семнадцати, симпатичный на вид довольно бесцеремонно и продолжительно осмотрел Манько, затем нажимая на окончания, сказал, – дед, это, конечно, не защита от снега, просто содержу в чистоте и сухости свою совесть.

– Да?!

– А что? Пояснить?

– Попробуй.

– Ты, надеюсь, смыслишь в философии? Бытие определяет сознание. А вокруг столько грязи, и она все липнет, все летит на голову, так что избегая дурного воздействия, прикрываюсь, дабы не видеть и сохранить в чистоте сознание.

– А-а-а, от жизни уходишь.

– Нет, дед. Живу с чистой совестью и весело, надо сказать живу.

Либо Манько ему чем-то понравился, либо парень не пожелал упускать возможности поразмыслить в очередной раз о себе, о жизни, но с непостижимой легкостью он предложил Манько прокатиться в новый район города, обещая веселый вечер и знакомство с интересными людьми, и Геннадий выслушав внимательно и скупно поблагодарив, согласился.

Они разговорились по дороге, познакомились, и Жоржик, – так он представился, – без стеснения ругая Манько за мрачный вид, все дотошно выспрашивал.

– Ты, дед, поражаешь меня, невеселый такой, морщины, мешки под глазами. Пьешь что ли?

– Бывает иногда, – увильнул от ответа Манько.

– А может ты наркоман? – не унимался Жорж. – Ты вот улыбаешься, а глаза грустные. У меня вон приятель, глаза – точь-в-точь как у тебя, вчера за магнитофоном привалил. Я не дал, так он – нож к груди. Глаза пустые, стоит, покачивается. "Давай, – говорит, -маг, а то убью", и давит рукой. Чувствую, лезвием пиджак проколол. "Хана" – думаю. Потом изловчился и врезал ему по "чайнику" Смотри, дед, ты тоже без шуточек. Договорились?

– Не переживай, тоскливо мне, потому и глаза такие.

– Зря, дед, от скуки можно свихнуться. А тебя верно поколотили вчера? Я вижу, что прихрамываешь.

Было дело, – опять увильнул от честного ответа Манько, покосившись на парня.

– Один наверно был, без компании?

– Да.

– Так бежал бы, чего на рожон лезть?

– Не привык я.

– Зря дед. Ну, ничего, сейчас тебе весело будет, обещаю. А тоску брось, у нас не любят тоскливых.

"Веселый парень! – Манько ухмыльнулся. – Что ни говори, чувствуется молодость. Ему кажется, что повсюду огонь и вода, один он разбирается в жизни. Ну что ж, в конечном счете, уверенность – это неплохо. Самоуверенным в жизни, как правило, больше везет. И хорошо, что не строит он воздушных замков..."

В квартире, куда его минут через двадцать привез радушный Жорж, было тепло, уютно, успокаивающе царил полумрак, слегка подсвеченный из углов сверху миниатюрным голубым ночником, и в окно видно было, как летел наискось, подгоняемый порывистым ветром, мелкий, точно мошара, снег. Манько без приглашения небрежно скинул полусапожки, куртку расстегнул и повесил на вешалку, размотал шарф, снял шапочку-петушок, Жорж щелкнул выключателем – и сразу же выплыл из темноты застеленный бело-голубым стеганным покрывалом из нейлона с маленькой подушечкой диван, полированный журнальный столик на трех кривых ножках с портативным японским магнитофоном, завораживающе засверкал стеклами, ручками книжный шкаф, нежно засияли переливающимся гляncем фотографии рок-групп и звезд мировой эстрады, броско забелел цветами драпированный гардиновый тюль, и краснеющий ворсом, мягкий синтетический палас, приятно поглотил шаги. На нем в беспорядке валялись мелко исписанные четырехстрочными столбиками листы. Жорж поспешно собрал их, не жалеючи сминая в руке, и сунул в ящик письменного стола.

«Кажется с ним я наконец разгону скуку», – потянувшись, подумал Манько и с удовлетворением освобождено вздохнул, провалился в рыхлый паралон дивана, чувствуя спокойствие и некогда потерянное облегчение.

Насвистывая, Жорж вставил между тем кассету, перемотал ее, уменьшил предусмотрительно громкость, все удивленно и вопросительно поглядывая на безмолвного Манько, поистине наслаждавшегося покоем, одобрительно подмигнул ему и отправился варить кофе.

– Закуривай, дед, родичи на дне рождения, – крикнул он из кухни, – пепельница в шкафу.

Поднявшись нехотя (диван словно притягивал), Манько осторожно вытащил хрустальный кораблик, служивший пепельницей, задержался на минуту у полок, с интересом разглядывая корешки книг, беспричинно улыбнулся и вернулся к дивану. Он был в отличном настроении, потому что случайная встреча, которая, хотелось, чтобы была не случайной, и чудаковатый на первый взгляд Жорж, как пожалуй, и Манько для него, и расслабляющая обстановка, которая убаюкивала, погружала в дремоту, не давали повода для неудовольствия, и Манько, покручивая, тщательно разминая ароматную сигарету, беспечно развалившись на диване, закинув ногу на ногу, с еле заметной улыбкой на губах сидел в сладкой истоме, закрыв глаза, прислушиваясь к музыке и звукам на кухне, где гремел кофейником Жорж.

... – Если не ошибаюсь, ты служил? – Жорж, переодетый в махровый полосатый халат и гамаши, вошел пружинистыми шагами с двумя изящными чашечками.

– Угадал, – Манько усмехнулся. – А что?

– Слышь, дед, а Наполеон для тебя авторитет? – спросил Жорж, присаживаясь и подавая фарфоровую чашку.

– В каком смысле?

– Как военначальник, допустим.

– Допустим, что да.

– И вот, дед, он поговаривал, что армия, которая не воюет лет тридцать, становится страшно неповоротливой, бюрократившейся машиной. Тебе часом вместо занятий или стрельб не приходилось рубить топором траву, или красить ее, или все круглое переносить, а все квадратное перекачивать? –

– Хм-м, нет как-то. А вот что касается Наполеона, то доля правды есть. Почему ты спрашиваешь?

– Почему? – Жорж посмотрел на дверь, быстро провел пальцами по пухлым губам и произвольно засмеялся, приоткрывая мелкие, прокуренные до желтизны зубы. Эх, дед, меня,

как видишь, интересуют многие вопросы: политика, например, состояние армии, возможность возникновения войны. Я не всегда нахожу такого собеседника, как ты нестереотипного. Когда мы стояли на остановке, я заметил за тобой много странностей... Они располагают.

"А малый с головой", – подумал Манько, наблюдая пристально за рукой Жоржа, аккуратно помешивающей крохотной ложечкой кофе. – Только поначалу прикидывался пижоном". Открытие это вдруг сильно взволновало его и, моментально представив томительные бесконечные часы одиночества, проведенные в своей прокуренной, запущенной комнате, невольно сравнил с собой Жоржа, который также, быть может, мучился оттого, что был не в состоянии отыскать человека, который бы смог его понять, Манько решил кое о чем его расспросить.

– Хорошо, Жорж, но, извини, а какая ты фигура, чтобы судить о политике? |

– Я? – Жорж широко заулыбался, и растерявшись, переспросил. – Я? Молодой человек, но ты зря спросил, по-моему о ней поговаривают все кому не лень. Или я не прав?

– Возможно прав.

– К тому же я, – продолжал Жорж, – я – современный нигилист, а чтобы отрицать поумному, выразить неприятие, надо хотя бы четко знать то, что отрицаешь.

– Резонно, – заметил Манько, прикуривая. – И что же ты отрицаешь, если не секрет?

– Многое, дед. Погляди в правый угол, – сказал Жорж, рукой указывая на стену, – видишь висит фото Андрея Макаревича? Еще года три назад его поливали как могли грязью. Помню даже диспут в школе, где наша классная возмущалась его творчеством. А что теперь? Его поднимают на щит, хвалят, берут интервью. Где логика, дед?

– Все изменяется.

И тут изменился в лице, густо покраснел Жорж, широко раскрытые глаза сузились, точно прощупывая Манько, и твердым голосом он отчеканил:

– Ты лжешь! Прости, может, просто уходишь от ответа. У нас есть два мнения: то, которое несут с телеэкрана и предлагают с газетной полосы, но в жизни оно не в счет, в жизни важнее другое, то, которым обмениваются за чашкой кофе незнакомые люди. Как мы, допустим. Через час они безболезненно разойдутся, и им будет глубоко фиолетово до того, что честно сказали друг другу.

– Постой, Жорж, ты утверждаешь, что средства массовой информации вводят граждан в заблуждение, то есть, иными словами, похожи на лицо молодящейся женщины – в пудре, помаде?

– Да, но мы затронули пока одну проблему. Скажи, тебя волнует наша молодежь? Твои, мои сверстники? – Глаза Жоржа снова расширились и влажно заблестели, и Манько показалось, что где-то уже видел подобные глаза, прямой обжигающий взгляд. Но где? Когда? При каких обстоятельствах? – Смутная тревога шевельнулась в нем.

– Скажи, дед, зачем я цепляю на дискотеке панковский ошейник? – при этом Жорж полез в карман и вытащил шелковую черную ленту чуть меньше метра длиной. Взяв ее в руки, Манько удивленно повертел, пожал плечами.

– Затем, чтобы выделиться, понимаешь, дед? Но такие ленточки почти у всех. Скажи, зачем они нам? Зачем эти обезьяньи способы обратить на себя внимание?

– Других способов, Жорж, наверно, нет.

– Есть. Но ты спокоен? – Парень усмехнулся. – Да нас, дед, зажали просто, отпихиваются, нам не доверяют! Где мы? Нигде. А во мне столько энергии, что я готов, ну не знаю, черти что переломать. – Он вдруг вскочил, нервно сунул руки в карманы халата, зашагал по комнате от дивана к окну. – И вот, дед, вывод: плюнули на меня, я плюю на них, смачно, и мне радостно.

– Вот как? – Манько ладонью поправил волосы, сел ровно, сит зал, пальцем указывая на Жоржа:

– Значит, вы все отрицаете?

– Да, дед. Все, кроме веселья, радости и личного благополучия, только не учи меня, пожалуйста, не говори, что это плохо, что я живу под маской. Я видел таких учителей. В открытую они твердили, что поступать надо так-то и так-то, а сами втихаря творили обратное. – Жорж остановился. – И вот оно, мнение, видишь?

– Постой, Жорж, а если я в Афгане воевал, кровь проливал, а со мной тысячи таких же, как я, – по-твоему получается, что зря?

– Ты воевал? Дед, ты воевал?! – воскликнул Жорж, и некое замешательство, скользнувшее в его глазах, тут же сменилось раздражением. – Конечно, зря. Кому это надо? Ребятам? Так ничего они, кроме свинца, тифа, желтухи не получили. Может, матери твоей это надо? Скажи какое ей счастье увидеть тебя, прости калеккой? Или в гробу цинковом?

И все погасло в Манько: и радость встречи, и волнение, и наслаждение покоем в комфортабельной комнате, и почудилось, что балагур, благодушного вида Жорж так беспощадно, не задумываясь, одним махом, предал забвению всех, кто сражался и умирал в мрачных ущельях. "Ему надо сейчас же достойно ответить", – поспешно подумал Манько, машинально потянувшись к тугому, плотно облегающему вороту рубашки, растягивая по привычке верхнюю пуговицу, как когда-то, уловив в наушниках миноискателя отдаленный писк, отделял от потной шеи воротничок, – и что-то похожее на взрывную волну, извне толкнуло в грудь. И побагровев, Манько, захлестнутый болью и ненавистью, не выдержав, стиснув зубы, рукой рванул так резко за ворот, что перламутровые кругляшки беспорядочно посыпались на палас, оголенный по пояс, вскочил, и повернувшись спиной к ошарашенному парню, изнемогая от мучительной боли, крикнул:

– Это для тебя зря?!

И, цепенея, как будто стоя на ледяном звенящем ветру, увидел Жорж скрученные бугорки кожи, безобразные лиловые шрамы, швы, и побледнел, закрыл глаза, беззвучно зашевелил губами.

– Для тебя это зря?! Пацан, молокосос! – Развернувшись, Манько крепко схватил за плечи, впился трясущимися пальцами в халат, неотрывно глядя в упор на пораженного парня. – Они нам глаза выкалывали, носы отрезали, уши, головы. Они вспарывали животы и набивали землей. Они из кожи со спины нарезали бинты. Забыть это?! На их минах взрывались бензовозы на моих глазах, и в воздухе пахло горелым человеческим мясом. И ты предлагаешь мне забыть это?! Что ты сможешь ответить? Ты?! Нигилист современный?! Ты же жизни не видел!

Жорж отшатнулся:

– Прости, Гена, прости.

Губы Жоржа дрогнули, и в затуманенных глазах его, во взгляде, в чертах лица Манько уловил нечто беспомощное, растерянное, опустошенное. "Где-то видел я этот взгляд, – вновь подумал Манько. – Видел. Точно помню, что видел. Но где? Когда? Может, в госпитале, в Ташкенте? У ребят, которые лежали без ног? Или в Саках. Не помню. Забыл. Но где-то видел. Черт, память подводит, и затылок жжет. Но видел". И сверх усилием заставил себя напрячь память, он припомнил, что после приезда, проснувшись как-то под утро, часу в пятом, когда за окном еще держалась темень, сидел, испуганно озираясь по сторонам, в койке в холодном поту, напряженно прислушиваясь к утомительному урчанию холодильника за стеной, к шорохам и попискиваниям в клетке, где помещались помешались попугайчики Кузя и Катька, – а перед глазами не исчезало, не убегало, а мелькало, как наваждение, живое существо близкое к человеку, но не человек, которое приснилось.

Этобыла услышанная в детстве легенда о человеческой подлости, родившаяся в острогах Тянь-Шаня. Чабаны рассказывали, что издавна в этих местах в горном холодном воздухе, плотном, почти вязком, в тишине ночи под мерцающими звездами за неровной грядой конусообразных вершин оно появляется всякий раз под осень, стонет, плачет, жалуется, как человек, и дикий жуткий вой, многократно усиленный эхом на протяжении целой ночи катится,

не затихая, по долинам. Суеверные твердили, что это дьявол, гуляющий в поисках заблудших человеческих душ, сетует на мучения, но чабаны угрюмо доказывали, что это бродит погибший альпинист, сорвавшийся в глубокую трещину вечных ледников и брошенный товарищами. Его могли найти, вытащить, и быть может, если он не убился насмерть, оказали бы помощь, или в конце концов доставили тело на Родину, чтобы похоронить по-человечески. Но никто не рискнул спуститься, все струсил, как один, и даже любимая. И ушли они, бросив его, а альпинист выжил и выкарабкался, седой, страшный, с окарябанными щеками, один в белоснежном безмолвии. И решил он тогда расквитаться с подлостью, с товарищами своими, к людям не возвращаться. Кто они, если предали друга? Долгие годы настойчиво искал он встречи, знал, что те не преминут вернуться, через год, через два, через десять лет, но вернуться, и ждал. А однажды глубокой осенью в лагере, где остановилась накануне восхождения группа, в крайней палатке, проснувшись, кто-то нашел мертвых: трех мужчин и женщину. Кожа на лицах была разодрана ас нечеловеческой силой, шейные позвонки переломаны. А он, сказывают, разочарованный в жизни до сих пор бродит по горам в поисках смерти, диким ревом наводя до озноба ужас на местных жителей.

"Так вот где я видел эти глаза, этот взгляд. Сон? Но я отчетливо видел тонкие лучики морщин, расходящиеся от уголков глаз. Опустошенный взгляд, беспомощный, растерянный. Жертва измены. Не скорее подлости".

– Ты сказал, Жорж, прости?! Разве ты должен просить прощенья? Мы были предельно откровенны.

Подперев голову рукой, тупо уставившись в чашку с черным осадком на дне, Жорж сидел на диване.

– Гена, слышь? О разочаровании ты верно сказал. Об измене и о подлости тоже.

Манько тяжело поднял голову, осторожно присел на корточки перед Жоржем, заглядывая в глаза, охлажденный рассказом; справившись с замешательством, с некоторым помрачением ума, потянулся за сигаретой, зашуршал пачкой.

– Компании сегодня не будет, – сказал в раздумье Жорж, немного погодя, посмотрел на часы. О чем-то отвлеченном ему, пожалуй, надо было сказать, оттянуть время, хоть на пару секунд, чтобы не сразу подступить к тому, что мучило. Он открыл пальцем замок широкого браслета, снял часы и закатал левый рукав до локтя.

– Смотри, Гена, я вскрывал вены, сходил с ума. Никто об этом не знает, кроме нее, и родители не знают. Впрочем, они никогда не интересовались мной, моей жизнью. А я жил, любил... Ты не улыбаешься? Веришь в это чувство? – Он с кривой улыбкой глубоко вздохнул. – А мои чувства сейчас оскудели. Пустота, Гена... Год назад, да ровно год назад, ей было девятнадцать, мне – шестнадцать, как видишь, родичи празднуют день рождения. Я безумно любил ее. Какая нелепость. Как счастлив я был, только бы увидеть ее, подарить цветок. Не знаю, это было тихое счастливое помешательство. Но раз пришел к ней домой и замер, лежит на диване и плачет. «Уйди, – говорит, – не могу смотреть на вас». "Что случилось?" – спрашиваю. Молчит. Потом созналась, что приятель мой, Славик, домогался ее, а она не уступала. Тогда он нарочно подпоил ее и добился своего. Не поверю сейчас, что против воли можно было влить ей бокал коктейля. Но тогда об этом я даже не задумался. Что было со мной? Веришь нет, Гена, но Славика я готов был уничтожить, убить, зарезать. Тысячи преступных мыслей пролетело в голове, тысячи вариантов мести перебрал. Но что-то остановило, и решил тогда его пальцем не трогать. Однажды осенью, когда поехали с ним вдвоем рыбачить на озеро, заплыли в лодке на самую середину. А вода была черная, студена, как сейчас помню. Глушь кругом. Екнуло сердце: столкнуть бы его к чертям собачьим, ведь не выплывет, плавать не умеет, к тому же судорога сведет. И надо же было случиться: вытаскивая рыбину он привстал, лодка покачнулась, а он не удержался, рухнул прямо в одежде, в сапогах. Вынырнул, глаза огромные, весь белый, отчаянно крикнул что-то, а я и не подумал вызволять его. Утонул он, короче. Что было

потом? Долгая история, одно лишь скажу, когда пришел к ней и рассказал обо всем, рассмеялась, стерва.

«Я, – говорит, пошутила». В первую секунду я чуть было не ослеп, задохнулся, и скользнула одна мысль: "Как все подло". Потом избил ее, схватил лезвие и начал вены себе вскрывать, а она все стонет, плачет и просит: "Не надо здесь, посадят меня". Как все подло, обманчиво. Вот так, Гена... Нигилистом лучше жить, легче, но все одно – пустота...

"...Пустота... Для него и человеческая жизнь – пустота. Странно. Человек потерял человека и вместо того, чтобы стать сильней, совсем обессилел. Или наоборот стал слишком сильным, непробиваемым. Пережить такое и зачерстветь?! Почему после случайной подлости или случайного геройства люди покрываются "рогожей", как руки покрываются от грязи ципками, и мнят себя настоящими героями, выше и лучше всех, хотя и совершена подлость".

Было далеко за полдень, безветренно, воскресенье. Сочно билась на крашенных железных подоконниках капель с крыш, и сосульки с хрустом надламываясь под карнизом, падали вниз, со звоном разбиваясь на чернеющем местами тротуаре. В теплом февральском воздухе остро пахло весенней свежестью, и Манько, выйдя из дома на залитую светом улицу исполосованную длинными тенями от деревьев на ноздреватом осевшем снегу, зажмурился разом, глубоко дыша, переживая невероятный прилив сил, неутоленное желание петь, смеяться, от души, в голос, безудержно говорить.

Манько радовался, очевидно, с вечера еще почтальон опустил в ящик письмо, то письмо, которое Манько давно ждал, и сегодня, спустившись, открыв скрипучую крышку и вытащив помятый конверт, еще не читая фамилии адресата, а только бегло взглянув на каракули, неумело выведенные левой рукой, он понял – от Мирона. Миронов. Рядовой, солдат из его взвода. Самарский волк, как Манько в шутку прозвал его, был тяжело ранен во время рискованной операции – разминирова мост, нарвались на засаду – и в госпитале, несмотря на все усилия врачей, пришлось ему ампутировать правую руку. Пути Манько и Миронова разошлись надолго, но Геннадий все-таки надеялся, что Мирон, если жив, откликнется, и сейчас, растроганный полученной весточкой, с трудом справляясь с нахлынувшим волнением, Манько неторопливо надорвал конверт и глазами впился в эти прыгающие, кажущиеся детскими, строки, по слогам, сквозь туман в глазах, разбирая написанное. Мирон без утайки сообщал, что находится в состоянии полнейшей потерянности, мучительной непригодности, ("Значит не я один в таком положении"), Правда Манько порадовался за боевого товарища, что тот более менее здоров, даже готов драться снова, и поймав себя на тревожной мысли, что не теряя ни минуты надо в срочном порядке ответить, вспомнив, однако, что дома конверта не найдется, бережно спрятав конверт во внутренний карман, он устремился к газетному киоску.

Он уже расплачивался с полной продавщицей в очках, когда над ухом кто-то громко и настойчиво, растягивая слова, воскликнул:

– Манько?! Салам; Манько! Черт конопатый! Ты что, не замечаешь?

И Манько, как-то отдаленно расслышав обращение к себе, нерешительно обернулся, поднял глаза и застыл с конвертом в руках.

– Обижаешь, братан, отвернулся, словно не замечаешь.

У киоска с накинутым на крашенные густые волосы капюшоном нераздельно-спортивном плащ-костюме, деланно улыбаясь, стоял с театрально поднятой рукой Димка Сидоренко, Димос, бычок по кличке, приклеившейся еще в школе, плотного телосложения, румяный, с выбритым до синя острого подбородком и пышными бакенбардами. Потом, словно опомнившись, раскинув руки, он подскочил к Манько, который, опешив вскинул удивленно брови, крепко обнял его и чмокнул в щеку.

– Салам. Ну?! Приди в себя, скоренько, скоренько.

– Откуда ты взялся, Димос?

– От верблюда. Ко мне едем, ко мне, герой.

– Прямо сейчас? – Манько переминался с ноги на ногу.

– А что, поговорим. Правда, у меня гости, но тебе понравится. Говори пошли.

Манько потупился, неловко улыбаясь, и остался неподвижен. В сравнении с ним грузный Сидоренко выглядел все же гораздо моложе, независимо от одинакового возраста, не было у Геннадия той привлекательности в чертах лица, какая была у Димоса. Было странно. Гонористый Димос несколько не изменился: по-прежнему он не говорил удручающе-скучно, чтобы захотелось перебить его или зевнуть. Все та же самонадеянность, заносчивость, проскальзывали в тоне.

– Чего ты молчишь? – Думаю ты первый, кого я встретил из нашего старого двора.

И Манько, преодолев неловкость, раньше не переносивший Сидоренко из-за его особого пристрастия к деньгам, не раз ругавшийся с ним с пеной у рта, не раз дравшийся, хлопнул обрадованно его по плечу, сказал между прочим:

– Пошли, нас вроде ждут?

Манько понимал, что делает все наоборот, вопреки внутреннему желанию вернуться домой, сесть, предельно сосредоточиться и, как брату, написать Мирону о своих бедах, понимая, что недопустимо вот так словно забыть о нем и пойти за Димосом, который, не унимаясь, тягуче говорил с ласковым лукавством.

"Почему я так поступаю? Что меня тянет к Димосу? Любопытство? Узнать как он жил? Или та же проклятая жажда общения? Так мне будет противно, я уверен, что у него как прежде компания, любители легкой жизни, он – их кумир. Зачем? Зачем я иду туда? Чтобы выразить им открыто презрение? Или попытаться понять и их, и себя? Или я, возможно свихнувшись в горах, что-то упускаю в этой современной гражданской жизни, в жизни без выстрелов? Или до сих пор не вернулся в эту устоявшуюся, привычную жизнь, оставленную мальчишкой зеленым юнцом? А может мне не хватает просто внимания и я хочу его заполучить, правда таким странным способом, общаясь с упавшими людьми?" – удрученно думал он, рассеянно глядя под ноги, едва поспевая за Сидоренко, а затылок опять жгло нестерпимо.

... – а-а, входите, заждались, – открыв двери, затароторила смазливая, весьма прилично одетая девчонка, пропуская ребят. Из комнаты доносились визг, веселье, звуки музыки, обрывки разговоров.

– Буба, ты запарил! Деловые записи?

– Не трогай меня руками!

– Что ты психуешь?!

– Отстань! Налей лучше вина, охладись.

– А... Понимаю, подсчет неуплаченных долгов.

– Пошел к черту, кретин!

Манько недовольно поморщился, задергалось правое веко. "Опять я добровольно вошел туда, где дал зарок никогда не бывать. Опять я буду недоволен", – крепясь насилу, думал Манько, медленно раздеваясь и вешая верхнюю одежду на услужливо протянутую Димосом вешалку. – И опять я буду вынужден скрывать негодование ради того, чтобы мне оказали знаки внимания, чтобы провести время не в одиночестве, от которого уже тошно".

Прими дикие извинения, братан, – рассыпался в любезностях Сидоренко, – за беспорядок, мини-сабантуй без этого не обходится... А ты сдал, братан, заметно сдал, даже на висках седина вон имеется. Постой, ты был ранен?

– Нет, – невозмутимо ответил Манько и, еще вчера ненавидя Димоса, сейчас проворно обнял рукой за пояс ("Что я делаю"), решительно, нетерпеливо потянул его в пространство за тяжелой шторой, придав лицу радостное удивление.

И сразу же в суматохе задымленной комнаты, до глазной рези, в темноте озаряемой ослепительно яркими вспышками, возникавшими на огромном экране из стеклянных перегородок-пробирок цветомузыкальной приставки, с выхваченным по центру зеленым – туда падал

зеленый свет – столом, густо заставленным грязными тарелками, сдвинутыми к краю, пустыми бутылками, заваленными фатиками, шкурками от мандаринов, спичками и окурками, когда их шумно приветствовали, и Димос возбужденно откликнулся: «Всем, салют!, увидев вначале пышногрудую в декольтированном платье блондинку с шаром перекасти-поле волос, которая сидела на коленях рыжего в джемпере верзилы и, опытно прижимаясь к нему, время от времени взвизгивала: "Ой! Алес! Как грубо...", и липла еще сильнее, а потом в кресле напротив – и девушку лет двадцати трех с сигарой, листавшую блестящие с иллюстрациями страницы иностранного порножурнала, увидев рядом с ней по пояс раздетого парня, возившегося с магнитофоном, увидев его подружку, которая наклонившись и заглядывая парню в глаза, что-то говорила, одновременно разжевывая яблоко, Манько, жмурясь, моментально сник, резко оттолкнул Димоса, сел устало на шаткий диван – и вкус к затяжной игре потерялся.

Знакомься, Ирен, – гримасничая, сказал Сидоренко, указывая на словоохотливую девушку с яблоком. – Общительная, не прочь уколоть, высокого мнения о себе, мечтает стать стюардессой и летать на аэробусе между континентами. Но я популярно объяснил, что ей там не место с длинным языком, – он расхохотался и, подпевая Ирен, запел: – Здравствуй, здравствуй, здравствуй, стюардесса, мой небесный друг...

Манько косо посмотрел на нее.

– Алес, – продолжал Димос. Верзила с блондинкой на коленях горделиво кивнул. – Экспрессивная личность без определенных занятий. Он убежден, что все в мире обманчиво, а женщины – сущие дьяволы в юбках, но питает к ним презрительную слабость... А вот Ярослав, – он представил парня у магнитофона, – думает несколько иначе. Не в обиду для наших дам, но они для него актрисы, причем бульварного театра, и непосильное бремя. Ирэн!? Ирэн!? Отвлекись от него, пожалуйста. В быту скромнен, все силы отдает в дело распространения польской одежды и прочего ширпотреба... Крошка Нелли, – при этом на Манько беспечно наивно уставилась блондинка, – девушка весьма обаятельная, современная, эмансипированная, но поклялась, что будет ждать принца, даже если посереблятся ее виски... Мирослава, между нами, леди Гамильтон. – "Леди" отложила журнал и из-под бровей томно взглянула на Геннадия. – Работает в ателье мод и в свободное время от выполнения заказов составляет мне компанию. С ней бы, братан, познакомиться не мешало. Костюм пошьет – закачаешься. А у нас... сам знаешь, встречают по одежке.

подавив отвращение, но наморщившись, Манько поначалу смотрел на них с интересом, пытаясь угадать о чем они думают, томительно с трудом вызывая в своей памяти ощущение прошлого, когда до армии также, в компании любил сидеть в сумеречной комнате под ненавязчивое звучание легкой музыки, ни о чем не думая, через соломинку с трепетным восторгом потягивая сладко обжигающий коктейль. Потом словно невзначай, он уловил в себе тайное, но сильное стремление встать и погасить нудно мигающий настенный экран, незатихающий магнитофон приглушить и тогда в тиши откровенно поговорить о чем-нибудь с этими молодыми людьми, рассказать о той службе, которая всех перековала, переделала, но тут же поймал себя на мысли, что не поймут они, в лучшем случае с полнейшим безразличием послушают да и ни к месту. И сразу стало не по себе, больно и тоскливо. С надеждой он взглянул на Димоса, который молча сидел разморенный теплом, откинув руку на спинку дивана, искоса наблюдая за игрой цветного света, преломляющегося на экране, изредка подносил сигарету к пересохшим губам, и Манько, охваченный неотступной мыслью, что все это донельзя противно, воспаленными глазами сопровождая вьющуюся струйку белого табачного дыма, почувствовал, что надо немедленно выйти отсюда, оказаться снова на улице, на свету, на воздухе, где угодно, но только не тут. "Неужели им не скучно?" – Но два года назад я тоже просиживал время подобным образом. А они? Застыли в развитии?

Видимо, перед человеком в определенном возрасте неминуемо появляются различной высоты барьеры, и если он перевалится через один, другой, то идет по жизни дальше, до сле-

дующей стены, как на полосе препятствий: чуть сорвался, не успел и рядом идущий вырвался вперед. И не догнать, если он не сорвется... Научиться бы видеть эти барьеры".

Манько молчал, лицо потемнело, скулы напряглись, и только пронзительная боль теснилась в его груди. Он уже не чувствовал того внешнего тупого давления, какое испытал, сидя у Жоржа с неделю назад, теперь он ощущал то, что стремительно перекрывало дыхательные пути, вызывало в горле спазмы, мешало говорить, слышать, даже видеть то, что воздействовало на нервы, вызывая продолжительные головные боли. И устав вдруг от непривычного количества впечатлений, сложившихся в одну безобразную картину, он как-то отрешенно подумал, что будет просто бессилён что-либо объяснить, даже Мирону, если судьба вдруг и столкнет их когда-нибудь. "О как я мог о нем позабыть?" И что все это: возвращение, неумная радость, горячие слезы матери, волнение, разрывающее сердце, восторг домом, умиление жизнью, и растроганность, и щедрость с которой он собирался всех одарить огромным, но на самом деле крохотным счастьем, и доброта к людям, когда хотелось быть добрым исключительно ко всем, всем людям планеты, и любовь – все это до обидного мимолетно, кратко и крайне редко случается, что момент возвращения был всего лишь попыткой освобождения от вечной схватки со всей подлостью земли, от того, что окружало там и уже укрепилось в сознании, как устоявшееся, вечное. И мелькнула мысль, что они, молодые люди, афганцы, вдруг по чьей-то воле оказавшиеся за границей, но не за линией, разделяющей государства, а за линией между людьми, живущими честно и нечестно, почему-то все пытаются вернуться обратно и, все же вернувшись, испытав миг счастья, увидели вдруг, наконец прозрели, что до сих пор стоят от той линии по разные стороны. Там по ту сторону, незаметной для глаза, живут и здравствуют, восторгаясь жизнью, Димосы и Жоржи со сложившимися взглядами, понятиями, мечтами, своими желаниями, своими целями, со своими идеалами, там безраздельно властвуют свои законы, и жизнь их не похожа, ничуть не совпадает с жизнями Манько, Мирона, словно родились они в разное время на разных континентах. "Это засада, как там, в горах, когда разминировали мост, только там была засада врагов, а здесь – тех же врагов, но под личиной доброжелателей".

– Как жил ты, Димос? – Манько взглянул прямо в глаза Сидоренко, пытаясь поймать в них хоть малейшую тень смущения, хоть какое-то неудобство, раздражение. – И почему не в армии?

– Как жил? – Димос зевнул и непринужденно рассмеялся. – Жил я хорошо, братан. Устроился барменом в кабак, так и живу. Дорогу в "ВЕЖУ" еще не забыл? Нет? Заскочи как-нибудь. А от армии я, братан, откупился, знакомый врач так устроил, что не подкупаешься. Деньги, братан, все могут, они у нас в почете... Квартира теперь есть. А ты когда приехал?

– Недавно.

"Как он кичится, как... – Манько не мог подобрать слова к тому чувству, которое угнетало его. – А может это и есть тип делового человека, хозяина, хозяина своих денег, самого себя и окружающих лиц, который так нужен сейчас нашей стране? Чушь... Это просто живой труп для меня и для общества".

– Я пожалуй пойду, – не желая продолжать разговора, Манько вышел в коридор, быстро оделся.

Сидоренко суетился вокруг него, услужливо помогая.

– Да, Димос, о чем я хотел тебя спросить: то ли я изменился, то ли город, но хожу поражаюсь. Ты не подскажешь почему?

– Читай Камю, братан...

Замотав покрепче шарф и не попрощавшись, Манько вышел в притемненный прохладный коридор, медленно зашагал, прихрамывая. Дверь подъезда, окованную затейливым орнаментом, он открыл с усилием и остановился, поеживаясь. За тот час, пока он сидел в комнате с наглухо задернутыми шторами под мигание разноцветных лампочек, капризная изменчивая погода переменилась: резко похолодало, исчез свет, и непроницаемая мгла точно замерла,

зависла над городом; падал снег мелкий, лениво кружащийся, и бывает во Львове в последних числах февраля. И озябнув с тепла, Манько вздрогнул, приподнял мягкий в снежинках воротник, щелкнул кнопками, полез за сигаретой в карман.

Скользкая, мощеная булыжником заветренная улица, по которой сейчас неторопливо, припадая на левую ногу шел он, в ранний вечерний час была сумеречна, тиха и малооживленна. И здесь, на улице, с редко проезжающими машинами, у которых на капоте мерцали, подсвечивая дорогу, желтые противотуманные фары, с одиноко краснеющими и белеющими окнами домов, с тускловаты горящими фонарями, светофорами, с бледным светом неработающих киосков, ползущих троллейбусов, бра в кафе, с мрачными пустотами попавшихся на пути закрытых магазинов, замедлив нарочно неспешный и без того шаг, выбросив потухшую сигарету, Манько почувствовал полнейшее опустошение, будто заметался в замкнутом круге. Ему казалось, что он идет в каком-то ином мире, и плоскости, в ином измерении, нежели окружающие и потому не ощущает их присутствия, а они его...

«Неужели можно так опуститься? Упасть в грязь до такой степени? Неужели свои силы, возможности нельзя направить на что-то достойное человека, нескотское?» – потрясенно думал Манько и, тотчас представив Жоржа в его уютной, комфортабельной комнате, представив на минуту нигилистов из его круга, разочарованных, сломленных, представив спрятавшихся от любопытных глаз по углам и задворкам забулдыг и наркоманов с волчьими глазами, представив развращенных молоденьких женщин у гостиницы «Интурист», представив воров, аферистов, фарцовщиков, делящих дневной навар, встретившись у комиссионного магазина, он ужаснулся. "Неужели я вернулся в родную страну? – еще более ужаснулся Манько. – Неужели из всего этого нет выхода, а есть только тропинка в болото и глухой тупик, возле которого каждый сворачивает в никуда? Неужели передо мной был барьер, который я не смог преодолеть, не заметил его и не преодолел? Неужели я не вижу ничего кроме пустоты, пустоты того Жоржа? Неужели я ослаб и не смогу больше плыть в этом море? Хоть бы кусочек, краешек «земли» увидеть, как бы прибавилось сил! Нет я не ослаб, я еще воюю. Как? Как? Как? – Манько простонал, растирая горячей ладонью лоб. – Как?! Найду!

Противно запахло выхлопными газами, все труднее стало сдерживать шаг в суетливом людском потоке, шуршащем куртками; утепленными плащами, полиэтиленовыми пакетами, речистом, многоликом – приближалась центральная улица – и, сторонясь, прижимаясь к краю тротуара, почти к бровке, где прохожие его совершенно не задевали, не обращая внимания на брызги из-под колес пронесившихся машин, Манько сознательно вглядывался в снующие мимо лица хмурые, усталые, озабоченные, веселые и нейтральные, желая прочесть ответы в них. И в ту минуту ему показалось, что по сырому Львову в поисках неизвестного идет вовсе не он, Манько, а кто-то другой, с похожими чертами лица, позабытый, покинутый всеми, одинокий и абсолютно никому не нужный.

"Что ищу я? Деньги? Счастье?" – превозмогая сильную боль в затылке, думал Манько, застыв у пешеходного перехода, где сгрудились, сближаясь напротив друг друга в две кучки люди, ожидая разрешающего сигнала: "Идите", и снова поплыли, заработали руками и ногами, замельтешили перед глазами прохожие, снова рванулись вперед, скопившиеся у стоп-линии машины. "Или я все настойчиво ищу отгадку на один и тот же вопрос?"

... Перестал мечтать. Перестал думать о будущем, планировать что-либо. Раньше, бывало, за месяц-два до события думал о нем беспрестанно, раскладывал по полочкам, доходил до нервозности от скрупулезного копания. А какие воздушные были мечты?! А как с ребятами мечтали после отбоя? Ведь до минуты продумывали неделю после дембеля; ясно представляли возвращение. А сейчас будто что-то оборвалось, как будто поломался тот скрытый от глаз телескоп, в который я наблюдал за будущим, как будто осколок размозжил именно мозговой центр мечтаний. И будущего для меня не стало. Только прошлое и настоящее.

Может забыть? И тогда вновь заблестит впереди звезда. Нет не забыть, нельзя. Но звезду, одинокую, которая только издали точка, нужно найти.

А может не нужно? Зачем? Может, теперь необходимо калить топку воспоминаний и греться возле нее, и ехать по жизни гонимым ее энергией? Согласен. Но куда ехать? Найти направление все равно необходимо. Нет, с ума я не сошел. Я и не могу думать о будущем, пока не разберусь с настоящим, сопоставлю его с прошлым, – это и укажет правильный путь к звезде, своей звезде".

Красочно запестрели аршинными заголовками, рисунками зазывающие афиши кинотеатров, ослепительно заиграли на фасадах, искрясь, малиновые, голубовато-сиреневые огни реклам. В «Украине», прокручивали завоевавший популярность, бесконечный сериал про Анжелику, заполнивший, казалось, все экраны города. На сей раз «Анжелика в гневе», зайти? Но галдящая в тесном, открытом с улицы холле публика, неприступным видом своим оттолкнула его, и он свернул, не пристроился в хвост, прошел мимо.

«Так что же я ищу? Может быть, точку отсчета, как дальше жить? Ту точку, которую каждый здравомыслящий человек находит в мгновении или периоде жизни, задумываясь всерьез, и с которой вдруг начинаешь осознавать, что больше так жить нельзя".

Однако там, в иссушенной солнцем долине с помертвелыми от зноя стеблями, пучками травы, он вынес это как нечто непреложное, незыблемое и теперь, возвратившись, что-то начинает оценивать по-новому. И снова, как месяц назад в самолете при посадке, Манько задался вопросом: "Зачем я вернулся?"

Снег шел, не переставая, густо мельтеша, заслоняя и поглощая свет, и одевшийся не по погоде, постукивая зубами, окончательно продрогший, Манько обив с себя тающие кристаллики снега, заскочил в первое попавшееся на пути кафе, которое представилось ему чуть ли не спасением.

Небольшой чистый зал, под потолком неярко освещенном красными фонариками, был полон, и лишь у барной стойки, где среди узких, вертикальных зеркал, инистое пенистое в никелированных чашечках мороженое, пепси-колу в стаканчиках, приветливо улыбалась обаятельная официантка, виднелся круглый высокий стульчик. Туда Манько и сел, снял шапочку, положил на колени, порывшись в кармане, вытащил мелочь и заказал горячего душистого напитка. Здесь было слишком душно, и согрившись, Манько вспотел и, уже тревожась отер испарину, освободился от куртки, украдкой поглядывая на рядом сидящих.

«Странно, там мучили нас почему-то вечные проблемы, хотя не всегда было вдоволь воды, пищи. В сущности, этого-то как раз нам и не было мало. Но, вне сомнений, мы чаще замечали боль друзей, близких, если они что-то переживали, грустили, и подбадривали их, чаще молчали, чаще говорили о том, о чем бы здесь никогда не решились сказать. А после операции внешне мы походили на зверей, но не грубели, набирались доброты. Может и верно, люди хорошо стали жить и многое потеряли в духовной жизни. Или лучшие качества людей проявляются лишь тогда, когда им хуже всего? Чья мысль? Какая разница" – все больше погружаясь в воспоминания, сопоставляя их с днями сегодняшними, размышлял Манько.

В тех быстрых и точных движениях, в которых было что-то от работа, когда он, надрываясь с тяжелым сопением, молча подтаскивал и укладывал в кузов мощного ЗИЛа мины, когда сосредоточенно надевал тесный бронежилет, от которого тут же хотелось избавиться, когда невозмутимо набивал промасленный магазин патронами, несущими на отточенных свинцовых наконечниках смерть, когда, поддаваясь особому, выработанному в боях рефлексу дослал патрон в патронник и заученно, вскидывая автомат, лова в прорезь прицела фигуру душмана, пальцем ощущая успокаивающую упругость спускового крючка, безоговорочно, без тени сомнения веря в надежность этого механизма, – во всем была какая-то осознанность, понимание того, что все крайне необходимо, иначе могла быть гибель: мирных жителей, сослуживцев, друзей, самого себя.

"А здесь? Что делать здесь? Как жить? Кто поддержит?"

– Извините, а который час? – вкрадчиво прозвучал вопрос, и Манько, истомленный духовой, внутренним борением, сомнениями, отвлекшись, с трудом соображая о чем его спрашивают, но догадавшись по розовому ноготку, стучающему по запястью, после неловкой заминки, сперва посмотрев на часы, а затем на стоящую полуфетом девушку в розовой просторной с горжеткой курточке, словно надутый в рукавах, сказал безучастно: "Без пяти семь", равнодушно скользнув глазами по тоненькой безупречной фигурке. Однако она уходит не собиравшись, наоборот, села рядом на освободившееся место, произвела заказ, и ожидая, время от времени мельком поглядывала на Манько.

Кофе они пили молча, когда, вдруг – для Геннадия это было действительно "вдруг", что он не сразу нашелся, что ответить, – она пряча глаза, но и непринужденно улыбаясь, продолжала:

– У меня свободная квартира, пойдем ко мне... понимая, Манько продолжительно смотрел на нее, на алые, лоснящиеся от помады губы, на черные стрелки бровей, тонкие, как ниточки, на подведенные веки, на густой слой тонака, размазанный щекам, и как-то отдаленно, в полудремоте уловив ее поясняющий нежный, притворно застенчивый: "Разве ты не догадался? Разве ты не хочешь меня?", изумился и моментально облик ее поплыл перед глазами, стал невыразительным, словно набрался влаги, превратившись в грязное, сморщенное пятно.

«А ведь два года назад я бы, пожалуй, не побрезговал, – с отвращением подумал Манько. – Как быстро меняются взгляды. Прежде невинное, стало грязью! Все же с возрастом, по мере прошедших очередных лет, испытал что-то, пережив, человек начинает на одно и то же явление смотреть разными глазами. Сейчас для меня она – омерзение. А через год, другой я найду этому объяснение, а затем... Что будет затем? Я сумею посмотреть на этот период с десятков углов зрения, и столько же будет мнений, моих мнений об этом. И родится вывод. Это наверное и есть мудрость и старость, зависящая от того, ничтожество ты или нет, и взгляну на каждого человека на земле это угол падения, он равен углу отражения, следовательно миллиарды людей на моем месте подумали бы и сделали что-то свое. Где же истина. Истина она для каждого своя, одна.

...Замысловатая тяжелая вывеска в виде странной сторожевой башни, похожей на шахматную ладью крепилась массивными чугунными цепями, в бликах от восьмигранных фонарей манила, зазывала и проходя мимо, уперев в нее взгляд, Манько непроизвольно остановился, как будто остерегаясь чего-то, и глухо долго-долго смеялся потом, разглядывая вывеску. "Врачи пить запретили... Но я же урод! Инвалид! Через год-три – крышка! Потерянный человек. Да что, собственно, терять, мне в этой жизни, если я каждый день там видел смерть, если сам шел по краю? Что?» Им овладело невыразимое отчаяние и решительно потянув за ледяную, ожегшую пальцы ручку-шишку – в нос тотчас ударил застоялый прелый, кисловатый запах, вошел во внутрь, осторожно ступил, держась за перила, на скользкую ("Не поскользнуться б, не упасть здесь"), грязную лестницу, залитую зеленым светом бестеновой лампы, едва справляясь с сердцебиением, направился вниз, в подвал, откуда поднимался, плыл навстречу плотный дым сигарет и доносился не вполне ясный, сливающийся в шум разговор подвыпившей толпы чувствуя, как в душе начинает бередить, раздражаться больное место. Он встал в очередь, взял кружку, огляделся, выбирая стойку так, чтобы удобно было наблюдать, и притулившись в уголке под резными черными багетами, принялся изучать зал.

В зале стояли мужчины угрюмые и веселые, помятые и гладколицые, жалкие и нахохлившиеся, словно задиры воробьи, пили, говорили, жевали, но Манько уже не презирал их, как после возвращения, а вслушиваясь, старался понять, чем живут они. Кто встретил друга и радовался, кто сплетничал – кстати, мужчины в этом деле сейчас преуспели, кто в чем-то раскаивался, кто давал советы или сетовал, или обсуждал с сигаретой в зубах спортивные новости, прогнозируя ход хоккейной баталии, кто просто говорил о пустяках, спорил, кто с жаром

разбирал политические события. И слушая эти бесхитростные разговоры, потихоньку отпивая холодное пиво, Манько пристально наблюдал за всем происходящим, что-то мешало, что-то неотступно тревожило, и с постепенно нарастающим чувством, что и за ним кто-то наблюдает, он стал еще зорче вглядываться в зал, отыскивая среди десятков пар глаз те, и не ошибся.

Высокий широкоплечий парень с уставшим лицом и несколько несимметричным носом, стоявший за стойкой, прищурившись, таясь, смотрел на него, из-за голов, наклонившихся над кружкам! Манько почему-то стало не по себе, и он сделал вид, что косится на янтарную жидкость в бокале, но странного парня из вида не упустил, тот же, после некоторого колебания, взяв свое пиво и протиснувшись между стойками, через зал направился прямо к Геннадию; обосновался рядом, достал сигарету, медленно поискал спички и, не найдя, попросил огня у Манько, невнятно бормоча и покручивая сигарету. Когда Манько протянул спички, незнакомец первым делом прикурил, глубоко с жадностью затянувшись, и выпуская дым с легким покашливанием, сказал:

– Я смотрю на тебя и... как будто где-то видел. – Он отхлебнул пива, с напряжением выжидая ответа, но Манько пожал плечами.

– Ты несуразно одет, в смысле не по моде, и прическа выдает, – не отставал парень, – наверно курсант или солдат?

– Нет, демобилизовался...

– А где служил?

– Далеко, – Манько тоже закурил, почувствовав, что тема завязывающегося разговора взволновала удивительно быстро, между тем с опаской подумав, чего же хочет незнакомец.

– А все же?

– В ДРА.

Вскинув светлые тонкие брови, незнакомец удивленно посмотрел на него, оставив кружку:

– Ты серьезно? – и бесцеремонно протянувшись через стойку, он восторженно, с силой хлопнул закружкой рукой Манько по плечу, взволнованно воскликнув:

– Брат! Я тоже оттуда. Как два месяца уже... Брат.., – он быстрым движением схватил кружку и отхлебнув неаккуратно, плеснул на ватиновую подкладку двубортного пальто, пенистого напитка. Страхнув скользким ударом капли, сказал доверительно:

– А я как чувствовал, вижу что-то родное.

Манько внимательно всмотрелся в покрасневшее отекшее лицо, сердце защемило, и в сознании жутко пронеслось: «Незнакомец два месяца как оттуда, и что время, очевидно, проводит здесь; неужели еще не отпускает? Неужели это состояние не на день, не на два?

– Геннадий, – протянул он руку незнакомцу, ощущая крепкое пожатие.

– Сергей, – он опять похлопал Манько по плечу. – Когда прибыл?

Манько почесал затылок:

– Да вот, недели две. Правда, из госпиталя, комиссовали по ранению.

– Серьезно?! – Сергей поставил локоть на стойку. Уперся лицом в ладонь, потер пальцем лоб. – Ладно, метя тоже царапнуло два раза, но легко, до дембеля там пробыл.

Он опять с восхищением похлопал Манько по плечу. Помолчали, попивая пиво. Тишину нарушил Сергей:

– Может еще по одной?

– Да нет, не нужно, пожалуй.

Сергей понимающе кивнул головой.

– Правильно, а то спиться можно... недавно друг мин гей, тоже оттуда, в десанте служил... Он как выпивал, все кричал: "Приготовиться!", и пытался залезть куда-нибудь повыше и прыгнуть. Чуть у меня из окна не выпрыгнул с пятого этажа. Не пускал его, подрались, пришлось связать... А потом... на дискотеке в общежитии института он выбил окно... его схва-

тили за руки, но он вырвался и выпрыгнул... насмерть... – Он с силой рубанул по столу Щулаком, так, что подскочили кружки, и сплюнул на бетонный затоптанный пол.

– Успокойся, успокойся, – теперь Манько слегка шокированный, тряс за плечо нового знакомого.

– Спокоен я, спокоен! Серегу не вернешь... А ты в каких войсках был, не в десанте?

– Нет, сапер...

Геннадий не смотрел на Сергея, сверлил глазами дно пустой кружки, голова трещала, особенно затылок. "Неужели здесь, дома, где не стреляют, можно погибнуть тому, кто не жалел себя там? Неужели здесь нет для нас места?"

– Нас осталось пятеро без Серегина... Тоска, тоска по делу гложет. Учеба?! В голову не лезет. На завод приходишь – руки к станку не лежат. В мыслях мы все еще там. Там была смерть, но чистота. А здесь жизнь, все хорошо, но грязь какая-то в людях. Как неживые ходят, как звери друг к другу относятся, не могут понять родного, обуяны только жаждой хорошо заработать, он опять с яростью сплюнул, – Воруют друг у друга, а попробуй скажи что-нибудь, съедят. Скажи честно, тебя сюда, в кабак, тоже самое привело?

Манько пожал плечами, затем утвердительно кивнул головой.

– Да, да, да, – замотал головой в такт ему Сергей, – я сразу тебя заметил. Тебе противно пить, я вижу, но ничего сделать не можешь. Не отчаивайся. Мы нашли, что делать. Нас пятеро теперь. Ты будешь шестым – это сила. Вообще, много здесь ребят из Афгана, но не все, видно, поняли чистоту революции, просто выполнили свой долг, а главного не поняли, и здесь им кажется хорошо, они довольны, радостны, смеются. А ведь здесь надо все исправлять! Ты будешь шестым. Я тебе раскрою наш план завтра. Есть записная книжка? А, не надо. Сейчас покажу, куда ты придешь...

Они вышли из бара. Поплутав по улицам, знакомым Манько, остановились у трехэтажного здания школы.

– Здесь один из наших сторожем работает. Завтра в семь вечера приходи... Обязательно, буду ждать. Ждать будем...

На следующий день Манько валялся в постели с больной головой. "Когда это было?" – постигая ужасную горечь виденного, чувствуя, как колотится во впалой груди сердце, думал Манько и вспомнил, как дня три назад, зайдя в православную церковь, а затем в польский католический храм – костел, где шла служба, неожиданно поразился тому, что обнаружил много молящихся девушек, и с испугом заглядывая в их глаза, находил то пустоту, то устремленные ввысь взгляды. Он постоял тогда несколько минут – вокруг были люди разного возраста, с горящих свечей падал каплями расплавленный воск, и искрились под интенсивно льющим светом отделанные позолотой стены, а под куполом непревзойденной красоты витала музыка. И подумалось в ту минуту, что исповедающимися, думами своими под пение церковного хора, они словно лечатся, вкушают своеобразный наркотик, освобождаясь от земного. «Но мою болезнь не притупить. Не отпускает какое-то безотчетное, потому что не понимаю чего боюсь, чувство страха. Наверно, я – находка для экзистенциалистов. Я нахожусь в состоянии экзистенции, в пограничной ситуации, но в какой? Не понять".

Нечто бессвязное, бесформенное, обрывки мыслей вертелись в его голове: "Трагичность человека, осознание хрупкости любви и мира», и у Манько было такое ощущение, словно все вокруг без исключения жили по Сартру и Камю: никто ничего не решал, а следовательно, не отвечая ни за что, словно все взбесились от мысли, что в мире все кончено, и старались этот конец сделать для себя прекрасным, незабываемым". Как будто воцарилось всеобщее ожидание краха мира? Или всем на все наплевать? Или не взбесились, а успокоились? Что же одно? Что истинно? То, что реально, что правда, то, что давно уже, не подгоняемое, плывем мы по течению, без ветра, перемен в погоде, который должен надуть паруса нашего корабля, и даже не гребем веслами. Нет, я – не находка для чужого мне Сартра. Мой страх не от ощущения

ограниченности бытия. Мое прошлое и мое настоящее, в которых я верчусь, живу, плачу, и радуюсь – это выход в будущее, и я найду его, единственно верный, и только тогда двинусь дальше. Нет, я не потерял себя от страха, я – не экзист, который осознает неизбежную свою хрупкость и хрупкость всего, что ему ближе, но не в глобальном масштабе, а в рамках собственного мирка. Я борюсь пока внутри себя. С чем? С кем? Какой конфигурации мой противник? В чем его сила и слабость? В моих сомнениях? В заблуждениях? В одиночестве? Но я чувствую, что болею за хрупкость всего мира и всех, кто с именем человека, живет в нем. И ничего в этом мире не кончено! После нас – не потоп! Я тоже ответственен за будущее!

К вечеру голова не прошла, поднялась температура, знобило, но одевшись потеплее, Манько все же поехал на встречу. Перед парадным, на лестнице стоял Сергей. Был он свеж, бодр, следов усталости, потерянности как не бывало.

– Привет! – Манько кисло улыбнулся, согнул в локте руку, сжал пальцы в кулак.

– Привет! – и улыбнувшись в ответ, Сергей бойко заговорил:

– Ты еще не отошел после вчерашнего?

– Да нет, просто... рана дает о себе знать, черт бы ее побрал. Мне нельзя пить, – Манько втянул голову в плечи, как бы извиняясь.

– Seriously? Извини, не догадался. Ну пошли, я введу тебя в курс дела, посмотришь на нашу организацию, – последнее слово он произнес, выделяя каждую букву.

Они закрыли на засов входную дверь, пошли по темным коридорам, поднялись на второй этаж, уперлись в спортзал.

– Здесь мы и тренируемся. Сергей настезь распахнул дверь. В ярко освещенном зале было четыре человека в белых кимано. Они приседали разминаясь. Несколько раз Сергей хлопнул в ладоши.

– Мужики! Все сюда. Знакомьтесь, это Геннадий.

Ребята приблизились, стали полукругом и Сергей по очереди каждого представил Манько.

– Игорь, тоже разведка, год был там, медаль за отвагу имеет, прекрасно владеет всеми видами оружия. Бил, это кличка, а так, Борис, десант. Толик, десант, тоже ранение, полтора года пробыл. Иван, пехота, вынослив как дьявол. Меня ты знаешь.

Очень приятно. Я смотрю вы занимаетесь рукопашным боем?

– Правильно понял, – Сергей положил руку на плечо Манько, – а для чего - вот вопрос? Теперь о нашем деле... Мы решили, что с негодями надо бороться их же способами. Сколько воды утечет, пока взяточника или хапугу закон приструнит, пока докажут вину, да и вряд ли хапуга поймет, когда закон с ним либерален. – Глаза Сергея горели гневом. – А мы его сами перевоспитаем! Вот и тренируемся, чтобы навыков не терять. Пригодилась армейская наука. Ты не осуждай, а подумай, там же мы гадов уничтожали для того, чтобы было легче, а здесь тот же фронт. Не страшно?! А гадов надо убирать, очищаться. – Сергей перевел дыхание. – Мы себя на это обрекли. Будешь с нами?

Манько молчал, прямо глядя в глаза ребятам.

– Разминкам, ребята! Все разбежались, через пять минут начнем, – крикнул Сергей и стал раздеваться.

– А ты, Гена, не спеши, подумай, посмотри... Садись пока на лавку. Или раздевайся, кимоно я принес, потренируешься.

– Да нет, не могу согнуться. Инвалид второй группы в двадцать лет. Он отвернулся и пошел к лавке, слыша за собой догоняющие шаги. Сергей остановил его, схватив за руку;

– Извини. Но тогда ты вообще должен быть с нами! Обидно же – ты кровь там проливал, а живые, здоровые гады пьют кровь у народа. И терять тебе нечего, пусть это жестоко, но кому ты будешь нужен через десять лет?! Задряхлаешь! Лучше выполнить свой долг и здесь. А?...

Манько поежился.

– Посмотрим...

Сергей одел кимоно, повязался черным поясом, остальные были с белыми. Манько сидел в углу на лавке, облокотившись спиной на теплую батарею, когда Сергей вышел на центр зала, сел на колени, упершись кулаками в пол. Перед ним в той же позе сели четверо и скороговоркой прокричали:

– Каратэ-до!

– Ос! – просвистели все, наклоняясь к полу.

– Кью-ко шинкай, – прошипел Сергей.

– Ос!

– Симпай! – выкрикнул сидевший слева от Сергея Игорь.

– Ос!

– Та-тэ! – разрезал тишину зала властный крик Сергея.

– Кия! – все вскочили, замерев в боевой стойке.

– За мной бегом марш!

Белые пояса побежали за черным, команды, произносимые через нос, скороговоркой Манько не понимал, а ребята то разминали руки, то прыгали, задирая высоко ноги, то сажали на спину партнеров и продолжали бежать или идти в низких стойках, то, прыгая на корточках, отрабатывали удары по воздуху, отчего рукава кимоно казалось стреляли. Иногда Сергей выкрикивал магическое слово, и все падали на кулаки, отжимаясь, потом ползли на кулаках по полу. С трудом Манько разобрал это слово "На кентос".

Несколько минут ребята растягивали мышцы ног и туловища. Опять встали в центре зала. Сергей давал команды: "Чока цки" – ребята работали кулаками, – "Ягуа Цки" – ребята в низкой стойке еще более жестко и сильно молотили воздух, – "Маваши Гери" – в ход пошли ноги, – "Урмалаша", "Ушира", "Ека", – затем снова пошли в ход руки – отрабатывали блоки, "Аги уки", "Гедан барай", "Сота уки", "Учи уки". Опять "цки" в разные места предполагаемого тела противника: "Жодан", "Чудан", "Гедан".

Менялись стойки: "Дзен-куце", "Киба дачи", "Реноже", "Тел-же", "Фута дачи"...

Иногда, также по команде, ребята замирали и синхронно, с шумом дышали.

Пошла отработка приемов, потом короткие спаринги: один на один, один против двух, трех... каты. Достали из сумок нунчаки... Затем Сергей поставил к стене припасенную доску, достал мощный нож и точно вбил его метров с десяти в круг на доске. Операцию повторили остальные. Обильно тек пот, кимоно были насквозь мокрыми. Однако Сергей поставил ребят на кулаки. Начали отжиматься из последних сил, до изнеможения. Упали на спину. Сергей стоял над ними:

– Закройте глаза. Дышите ровно. Повторяйте про себя: Я-центр вселенной. Нет ничего прочнее моего кулака. В нем сосредоточена мощь мира, и если я захочу, то разобью вдребезги весь мир! Расслабьтесь..., перед вами берег моря, прохлада бежит по вашим ногам к животу..., к груди..., к голове... – Сергей монотонно, с паузами говорил минут пять, внушению его поддался даже Манько, заметив, головная боль отступает, и глаза слипаются.

– Та-тэ – нечеловеческий резкий крик Сергея, от которого Манько вздрогнул, заставил ребят, с возгласом: "Кия!", распрямиться будто пружина, вскочить. После ритуала прощания, новые друзья встали, начали раздеваться, снимать липкое кимоно, направляясь в душевую.

Вытирая взлохмаченные редкие волосы огромным махровым полотенцем, подошел Сергей, сел рядом.

– Ну как?

– Здорово! Но я подумал – Манько скривился, медленно отвернулся: – Я сейчас, подожди, Серега. Клонило в сон; пошатываясь, с бледным лицом Манько вышел в длинный неосвещенный коридор, остановился, дернулся всем телом, когда боль сверлом крутанулась в затылке, и, еле унимая дыхание, чувствуя, что силы быстро покидают его, как будто уплывают,

ввергая его во власть окружающей тьмы, нашарил, пальцами вцепился в ребристую горячую поверхность батареи и, привалившись, прижавшись к ней грудью, не ощущая жара, изнемогая от всего случившегося, со страхом подумал: «Что со мной? Волнение? Перенапряжение? Голос наказа врачей? Или приступ? Первый приступ ожившей болезни? Неужели так скоро? Или это напоминание о ранах? Или еще что?»

В зале слышался оживленный говор, ребята вернулись из душевой, что-то бурно обсуждая, но Манько не фиксировал сознанием посторонний шум, который в данный момент мешал сосредоточиться, собрать волю в кулак, и, закрыв глаза, перекошенный от боли, стоял на правом деревяняющем колене, а память отдаленно шептала, подсказывала, стремительно возвращая его к некогда прожитому, увиденному, запечатленному раз и навсегда, и в голове вдруг неистово завертелось, зримо, ясно всплыло то, что было когда-то.

А была тишина, южная ночь у моря, вдалеке, на мысе, точно живую щупальцу света тянул сквозь темноту маяк, и в необъятном, вечно холодном небе тускло мерцали звезды; они то слегка затягивались облаками, то приоткрывались и струились, источались в зеркальные, ворчливо плещущиеся волны. В крепкой руке парня покоилась нежная рука любимой девушки. Кругом не было ни души, только они, еще нежнейший ветерок, прохлада, и смешанные запахи йода и соли. И до утра, точнее до рассвета, пока не заалел бел-восток, босиком по мокрому песку, по измельченному морем галечнику, бродили они, сбивали мохнатую пену, прибитую к берегу, обнявшись крепко стояли, задумчиво вглядываясь в серо-синий горизонт. Это было в Саках.

"В Саках? Разве там? Нет, я что-то путаю, может еще где-нибудь? – думал он, воскрешая в памяти то, другое, что было связано с возвращением.

И тот же берег снова предстал перед ним. Был пасмурный день, порывистый ветер, всю трепал разноцветные покрытия зонтов и тентов, одиноко торчащих среди неуютного пляжа, по которому неслись, кувыркаясь целлофановые кульки, клочья газет, бумажные стаканчики от мороженого, развеваясь болталась бахрама. А рыжеволосый мальчик сидел на раскладном стульчике и рисовал косматые волны, не обращая внимания на штормящее море. Рядом валялись брошенные костыли. Он совершенно не мог ходить. Возможно это была травма, хотелось верить, излечимая, – и Манько, бесшумно подойдя вплотную к нему, с ощущением физического сострадания, чуть было не отшатнулся, застыл на месте, пораженный его глазами, неистовыми, безумными, словно мальчик рвался в волны, набрасывающиеся на береге неодолимой силой и разбивающиеся в миллион брызг, словно хотел взлететь на клокочущие гребни. И подумалось Манько, что этому парню в несчетное число раз труднее, чем ему, раненому, но с целыми и неповрежденными ногами и руками, зрением.

Теперь, вспоминая до деталей, как стоял тогда на пустом невзрачном берегу, куда налетали, бились пепельные большие волны, глядя на сгорбленную у мольберта фигурку, на рыжие, дрожащие на ветру вихры, на металлические черные костыли, Манько еще отчетливее понял для чего возвратился.

"Саки? Да, это было в Крыму. Тогда я кажется впервые начал осознавать свое возвращение... к жизни. Или нет? Постой. Неужели было что-то еще? Когда? Где? Может раньше, в Афганистане?" – и ухватившись на туманно-летающую мысль, восстанавливая по порядку события, он вспомнил и представил умирающего в сознании солдата из своего взвода, земляка из Винницы.

Когда далеко позади грянул взрыв, в голове молнией мелькнула страшная догадка: «Гри-нак!» – и, добежав до изгиба ущелья, где изошренным «сюрпризом» занимался этот, достаточно опытный сапер, Манько застыл на месте.

Гринад с искаженным от боли лицом сидел на каменистой россыпи, точно на привале, и широко раскрытыми от ужаса глазами смотрел на правую ногу, где не было ступни, как и не было горного ботинка, и где клочьями болтался маскхалат, обнажая что-то непонятное, белое,

откуда фонтаном била кровь. Рана была в живот, и, видимо понимая, что все усилия напрасны, он беспомощный сидел и держал разорванный индивидуальный пакет в руках, скрипя зубами, страшно, криво улыбался и матерился.

– Перехитрила, гады...

– Молчи! – чуть не плача, закричал Манько, вырвал у него пакет и все крутил его, торопясь, никак не мог отделить край ленты бинта. Потом, размотав, стал лихорадочно перевязывать товарища, но бинты моментально набухали и Гринак, слабеющий на глазах от потери крови, еще будучи в сознании, быстро заговорил:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.